



Полное собрание сочинений и писем

АНТОН ЧЕХОВ

**Рассказы. Юморески.  
«Драма на охоте». 1884—1885**

1884-1885

**Чехов А. П.**

Рассказы. Юморески. «Драма на охоте». 1884—1885 /  
А. П. Чехов — 1884-1885 — (Полное собрание сочинений и  
писем)

## Содержание

Рассказы. Юморески. «Драма на охоте»	6
Несообразные мысли	6
Самообольщение	8
Дачница	9
С женой поспорился	11
Русский уголь	12
Дачные правила	15
Письмо к репортеру	17
Брожение умов	18
Дачное удовольствие	21
Идеальный экзамен	22
Водевиль	24
Экзамен на чин	26
Хирургия	29
Ярмарочное «итога»	31
Невидимые миру слезы	33
Идиллия	36
Хамелеон	37
Из огня да в полымя	39
Надлежащие меры	43
«Кавардак в риме»	46
Винт	49
Затмение луны	51
На кладбище	53
Гусиный разговор	55
Язык до Киева доведет	56
И прекрасное должно иметь пределы	57
Маска	59
В приюте для неизлечимо больных и престарелых	62
Вывеска	64
О драме	65
Брак по расчету	67
Часть первая	67
Части второй и последней	68
Господа обыватели	70
Свадьба с генералом	73
К характеристике народов	77
Задача	79
Ночь перед судом	81
Новейший письмовник	85
У постели больного	87
Картинки из недавнего прошлого	88
Устрицы	90
Либеральный душка	93
Страшная ночь	95
Елка	99

Не в духе	101
Предписание	103
Сон	104
Конец ознакомительного фрагмента.	106

# Антон Павлович Чехов

## РАССКАЗЫ. ЮМОРЕСКИ.

### «ДРАМА НА ОХОТЕ».

#### 1884—1885

## Рассказы. Юморески. «Драма на охоте»

### Несообразные мысли

Один учитель древних языков, человек на вид суровый, положительный и желчный, но втайне фантазер и вольнодумец, жаловался мне, что всегда, когда он сидит на ученических *extemporalia*<sup>1</sup> или на педагогических советах, его мучают разные несообразные и неразрешимые вопросы. То и дело, жаловался он, залезают в его голову вопросы вроде: «Что было бы, если бы вместо пола был потолок и вместо потолка пол? Что приносят древние языки: пользу или убыток? Каким образом учителя делали бы визиты директору, если бы последний жил на луне?» и т. д. Все эти и подобные вопросы, если они неотвязно сидят в голове, именуется в психиатрии «насильственными представлениями». Болезнь неизлечимая, тяжелая, но для наблюдателя интересная. На днях учитель явился ко мне и сказал, что его стал мучить вопрос: «Что было бы, если бы мужчины одевались по-женски?» Вопрос несообразный, сверхъестественный и даже неприличный, но нельзя сказать, чтобы на него трудно было ответить. Педагог ответил себе на него так: если бы мужчины одевались по-женски, то —

коллежские регистраторы носили бы ситцевые платья и, пожалуй, по высокотожественным дням — барежьевые. Корсеты они носили бы рублевые, чулки полосатые, бумажные; декольте не возбуждалось бы только в своей компании...

почтальоны и репортеры, шагая через канавы и лужи, были бы привлекаемы за проступки против общественной нравственности;

московский Юрьев<sup>2</sup> ходил бы в кринолине и ватном капоте;

классные сторожа Михей и Макар каждое утро ходили бы к «самому» затягивать его в корсет;

чиновники особых поручений и секретари благотворительных обществ одевались бы не по средствам;

поэт Майков носил бы букольки, зеленое платье с красными лентами и чепец;

телеса И. С. Аксакова покоились бы в сарафане и душегрейке;

заправила Лозово-Севастопольской дороги, по бедности, щеголяла бы в исподнице и т.

д.

А вот и разговоры:

<sup>1</sup> ...на ученических *extemporalia*... – Лат. *extemporalia* – упражнения, состоящие в переводе с русского на латинский и греческий языки; особенно практиковались в гимназиях в бытность Д. А. Толстого министром народного просвещения (1866—1880) и до самой его смерти в 1889 г. Цензура в эту пору преследовала всякую насмешку над классическим образованием. 31 августа 1884 г. Лейкин писал Л. Н. Трефолеву: «Литературу так сжали, что и гимназист является в некотором роде запретным плодом, особенно гимназист, страдающий от излюбленного классицизма» (ЦГАЛИ, ф. 507, оп. 1, ед. хр. 201).

<sup>2</sup> ...московский Юрьев... – Известный театральный и литературный деятель, редактор «Русской мысли» С. А. Юрьев (1821—1888). – См. у Чехова о нем в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1884, № 9, 3 марта).

– Тюник, ваше —ство, выше всякой критики-с! Турнюр великолепен-с! Декольте несколько велико.

– По форме, братец! Декольте IV класса! А ну-ка, поправь мне внизу оборку! и т. д.

## Самообольщение

(Сказка)

Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку, а именно: сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и проч.

– Я силен! – говорил он. – Хочу – подкову сломаю, хочу – человека с кашей съем... Могу и Карфаген разрушить и гордые узлы мечом рассекать. Вот какой я!

Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей; он не знал, что самообольщение и гордость суть пороки, недостойные благородной души. Но случай вразумил его. Однажды зашел он к своему другу, старику брандмейстеру, и, увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив же три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал:

– Смотрите, ничтожные! Смотрите и разумеите! Солнце, которое вот на небеси с прочими светилами и облаками! Оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь! Я же могу! Могу!

Старик брандмейстер подал ему четвертую рюмку и заметил дружески:

– Верю-с! Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум всё превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с мертвого взятку взять... всё может! Но, Петр Евтропыч, смею вам присовокупить, есть одно, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила.

– Что же это такое? – презрительно усмехнулся самообольщенный.

– Вы можете всё пересилить, но не можете пересилить самого себя. Да-с! «Гноти се автὸν», – говорили древние... Познай самого себя...<sup>3</sup> А вы себя ни познать, ни пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Да-с!

– Нет, пойду! И себя пересилю!

– Ой, не пересилите! Верьте старику, не пересилите!

Поднялся спор. Кончилось тем, что старик брандмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал:

– Сейчас я вам докажу-с... У этого вот лавочника в этой шкатулке лежит десятирублевка. Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег...

– И не возьму! Пересилю!

Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман.

– Да! – сказал он. – Теперь понимаю!

И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой.

---

<sup>3</sup> «Гноти се автὸν» ~ Познай самого себя... – Надпись на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. Изречение стало девизом Сократа.

## Дачница

Леля NN, хорошенькая двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Всё далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой... Кругом тишина... Леля думает... Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что, право, неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем.

Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама m-lle Могсеау, забитое, больное и ужасно недалекое создание с вечно испуганным лицом и большим, вспотевшим носом, водила выпускных в фотографию сниматься.

– Ах, умоляю вас, – просила она конторщицу в фотографии, – не показывайте им карточек мужчин!

Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого «демона» она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой, страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Могсеау, но, пропитанные насквозь «идеалами», они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев-вольноопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники... Гляди на эту кишашую толпу и выбирай! В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых впередогонку трактуют все романы и даже все учебники по истории – древней, средней и новой...

В этом мае Леля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на всё это, он (совестно сознаться перед поэтическим маем!) груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев.<sup>4</sup>

Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во всё тщательно вычищенное и выглаженное, целует женину руку и в собственном экипаже едет на службу в «Страховое общество». Что он делает в этом «обществе», Леля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты, или, быть может, даже вращает судьбами «общества» – неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит всё больше о высоких материях. Решает женский и финансовый вопросы, бранит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам... «Молодежь ужасно измелъчала!» За один обед успеет сотню вопросов решить. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом.

– Нет у нас теперь хороших писателей! – вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает – ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с

---

<sup>4</sup> ...груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев. – Перефразировка слов Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (акт 5, сцена 1).

Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже, а прочитав однажды, по совету Лели, Щедрина, нашел, что Щедрин «туманно» пишет.

– Пушкин, *ma chère*<sup>5</sup>, лучше... У Пушкина есть очень смешные вещи! Я читал... помню...

После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась... О чем он думает, неведомо Леле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несет всё ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и, в случае ошибки партнера, ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп.

– Извозчик! Извозчик! – услышала от него Леля на вторую ночь после свадьбы.

Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, животе...

Больше ничего не может сказать о нем Леля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех; но ей не легче от этого. Священный ужас m-ле Морсеау обещал ей больше.

---

<sup>5</sup> моя дорогая (*франц.*)

## С женой поссорился

(Случай)

– Чёрт вас возьми! Придешь со службы домой голодный, как собака, а они чёрт знает чем кормят! Да и заметить еще нельзя! заметишь, так сейчас рев, слезы! Будь я трижды анафема за то, что женился!

Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и с остервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился.

Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку.

«Чёрт тебя дернул жениться! – подумал он. – Хороша „семейная“ жизнь, нечего сказать! Не успел жениться, как уж стреляться хочется!»

Через четверть часа за дверью слышались легкие шаги...

«Да, это в порядке вещей... Оскорбила, надругалась, а теперь около двери ходит, мириться хочет... Ну, чёрта с два! Скорей повешусь, чем помирюсь!»

Дверь отворилась с тихим скрипом и не затворилась. Кто-то вошел и тихими, робкими шагами направился к дивану.

«Ладно! Проси прощения, умоляй, рыдай... Кукиш с маслом получишь! чёрта пухлого! Ни одного слова не добьешься, хоть умри... Сплю вот и говорить не желаю!»

Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой.

«Да... Теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся... Скоро начнем в плечико целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей!.. Все-таки... нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу...»

Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий... Муж почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки.

«Ну, бог с ней! Прощу в последний раз. Будет ее мучить, бедняжку! Тем более, что я сам виноват! Из-за ерунды бунт поднял...» – Ну, будет, моя крошка!

Муж протянул назад руку и обнял теплое тело.

– Тьфу!!

Около него лежала его большая собака Дианка.

## Русский уголь

(*Правдивая история*)

В одно прекрасное апрельское утро русский le comte<sup>6</sup> Тулупов ехал на немецком пароходе вниз по Рейну и от нечего делать беседовал с «колбасником». Его собеседник, молодой сухопарый немец, весь состоящий из надменно-ученой физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался горным мастером Артуром Имбс и упорно не сворачивал с начатого и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле.

– Судьба нашего угля весьма плачевна, – сказал, между прочим, граф, испустив вздох ученого знатока. – Вы не можете себе представить: Петербург и Москва живут английским углем, Россия жжет в печах свои роскошные, девственные леса, а между тем недра нашего юга содержат неисчерпаемые богатства!

Имбс печально покачал головой, досадливо крякнул и потребовал карту России.

Когда лакей принес карту, граф провел ногтем мизинца по берегу Азовского моря, поцарапал тем же ногтем возле Харькова и проговорил:

– Вот здесь... вообще... Понимаете? Весь юг!!.

Имбсу хотелось точнее узнать те именно места, где залегает наш уголь, но граф не сказал ничего определенного; он беспорядочно тыкал своим ногтем по всей России и раз даже, желая показать богатую углем Донскую область, ткнул на Ставропольскую губернию. Русский граф, по-видимому, плохо знал географию своей родины. Он ужасно удивился и даже изобразил на своем лице недоверие, когда Имбс сказал ему, что в России есть Карпатские горы.

– У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение, – сказал граф. – Восемь тысяч десятин земли. Прекрасное имение! Угля в нем, представьте себе... eine zahllose... eine oceanische Menge!<sup>7</sup> Миллионы в земле зарыты... пропадают даром... Давно уже мечтаю заняться этим вопросом... Подыскиваю случая... подходящего человека. У нас в России нет ведь специалистов! Полное безлюдье!

Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго... Кончилось тем, что граф вскочил вдруг, как ужаленный, хлопнул себя по лбу и сказал:

– Знаете что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко мне в имение? А? Что вам здесь делать, в Германии? Здесь ученых немцев и без вас много, а у меня вы дело сделаете! И какое дело!.. Хотите? Соглашайтесь скорей!

Имбс нахмурился, походил по каюте из угла в угол и, рассудив и взвесив, дал согласие.

Граф пожал ему руку и крикнул шампанского...

– Ну, теперь я покоен, – сказал он. – У меня будет уголь...

Через неделю Имбс, нагруженный книгами, чертежами и надеждами, ехал уже в Россию, нецеломудренно мечтая о русских рублях. В Москве граф дал ему двести рублей, адрес имения и приказал ехать на юг.

– Езжайте себе и начинайте там... Я, может быть, осенью приеду. Пишите, как и что...

Прибыв в имение Тулупова, Имбс поселился во флигеле и на другой же день после приезда занялся «снабжением России углем». Через три недели он послал графу первое письмо. «Я уже ознакомился с углем вашей земли, – писал он после длинного робкого вступления, – и нашел, что, благодаря своему низкому качеству, он не стбит того, чтобы его выкапывали из

<sup>6</sup> граф (франц.)

<sup>7</sup> бесчисленная... океанская масса! (нем.)

земли. Если бы он был втрое лучше, то и тогда бы не следовало трогать его. Помимо качества угля, меня поражает также полное отсутствие спроса. У вашего соседа, углепромышленника Алпатова, заготовлено пятнадцать миллионов пудов, а между тем нет никого, кто бы дал ему хотя бы по копейке за пуд.<sup>8</sup> Донецкая Каменноугольная дорога, идущая через ваше имение, построена специально для перевозки каменного угля, но, как оказывается, ей за всё время своего существования не удалось провезти еще ни одного пуда. Нужно быть нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех. Осмелюсь также добавить, что ваше хозяйство до того расстроено и распущено, что добывание угля и вообще какие бы то ни было нововведения являются роскошью». В конце концов немец просил графа порекомендовать его другим русским «Fürsten oder Grafen»<sup>9</sup> или же выслать ему «ein wenig»<sup>10</sup> на обратный путь в Германию. В ожидании милостивого ответа Имбс занялся ужением карасей и ловлей перепелов на дудочку.

Ответ на это письмо получил не Имбс, а управляющий, поляк Держинский. «А немцу скажите, что он ни черта не понимает, – писал граф в постскриптуме. – Я показывал его письмо одному горному инженеру (тайному советнику Млееву), и оно возбудило смех. Впрочем, я его не держу. Пусть себе уезжает. Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему 200 руб. Если он потратил на дорогу 50, то и тогда останется у него 150 руб.» Узнав о таком ответе, Имбс ужасно испугался. Он сел и покрыл своим немецким, расплывающимся почерком два листа почтовой бумаги. Он умолял графа простить его великодушно за то, что он скрыл от него в первом письме многое «очень важное». Со слезами на глазах и угрызаемый совестью он писал, что оставшиеся после дороги из Москвы 172 рубля он имел неосторожность проиграть в карты Держинскому. «Впоследствии я выиграл с него 250 р., но он не отдает мне их, хотя и получил с меня весь мой проигрыш, а потому осмеливаюсь прибегать к вашему всемогуществу, заставьте уважаемого господина Держинского уплатить мне хоть половину, чтобы я мог оставить Россию и не есть даром вашего хлеба». Много воды утекло в море и много карасей и перепелов поймал Имбс, пока получил ответ на это второе письмо. Однажды, в конце июля, в его комнату вошел поляк и, севши на кровать, принялся припоминать вслух все ругательства, имеющиеся на немецком языке.

– Удивительный осел этот граф! – сказал он, хлопая фуражкой о край стола. – Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не дает никаких распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? Водку вами закусывать, что ли? И на чертей ему дался этот уголь! Уголь ему нужен так же, как мне ваша физиономия, чёрт его возьми! И вы тоже хороши, нечего сказать! Глупый, объевшийся баловень наболтал вам от нечего делать, а вы ему поверили!

– Граф уезжает в Италию? – удивился Имбс, бледнея. – А денег мне прислал? Нет?! Как же я уеду отсюда? Ведь у меня ни копейки!.. Послушайте меня, уважаемый господин Держинский... Если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книг и чертежей? В России вы сбудете их за очень большую сумму!

– В России не нужны ваши книги и чертежи.

Имбс сел и задумался. Пока поляк наполнял воздух своею желчью, немец решал свой шкурный вопрос и чувствовал всеми своими немецкими чувствами, как у него портилась в эти минуты кровь. Он похудел, обрюзг, и выражение надменной учености на лице уступило

<sup>8</sup> ...построена специально для перевозки каменного угля ~ не удалось провезти еще ни одного пуда. – Нерентабельность Донецкой-Каменноугольной железной дороги (первые участки были открыты в декабре 1878 г.) вызывала постоянные насмешки в юмористической прессе. См. у Чехова в «Календаре „Будильника“ на 1882 год» запись под 24 марта: «Донецкая-Каменноугольная ж. д., возящая вместо каменного угля „зайцев“, будет переименована в Донецкую-Зайцевскую»; см. также «Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме» (т. II Сочинений, стр. 254).

<sup>9</sup> «князьям или графам» (нем.)

<sup>10</sup> «немного» (нем.)

место выражению боли, безнадежности... Сознание безвыходного плена, вдали от рейнских волн и компании горных мастеров, заставило его плакать... Вечером он сидел у окна и глядел на луну... Кругом была тишина. Где-то вдали пиликала гармонийка и ныла жалобная русская песенка. Эти звуки защемили Имбса за сердце... Его охватила такая тоска по родине, по праву и справедливости, что он отдал бы всю жизнь за то только, чтобы очутиться в эту ночь дома...

«И здесь светит эта луна, и там она светит, а какая разница!» – думал он.

Всю ночь тосковал Имбс. Под утро он не вынес тоски и порешил уйти. Сложив свои «ненужные в России» книги и чертежи в котомку, он выпил натошак воды и ровно в четыре часа утра поплелся пешечком к северу. Он порешил идти в тот самый Харьков, который еще так недавно граф поцарапал на карте своим розовым ногтем. В Харькове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу.

– Дорогой стащили с меня, сонного, сапоги, – рассказывал Имбс своим приятелям, сидя через месяц на том же пароходе. – Такова «русская честность»! Но в конце концов нужно отдать ей справедливость: от Славянска до Харькова русский кондуктор провез меня за сорок копеек – деньги, вырученные мною за мою пенковую трубку. Это нечестно, но зато очень дешево!

## Дачные правила

§§. Воспрещается жить на даче сумасшедшим, безумным, страдающим заразными болезнями, престарелым, малолетним и находящимся в строю нижним чином, ибо нигде нет столько опасности сочетаться законным браком, как на чистом воздухе.

§§. Живи, плодись и размножайся.

§§. Если ты, сидя у гостеприимной соседки, выкушал три чашки чаю и после всего этого почувствовал вдруг в своих внутренностях брожение умов, то, не прибегая ни к каким фармацевтическим средствам, надевай шапку и иди.

§§. Купаясь в реке, не стой спиной к берегу, ибо на последнем в эту пору могут находиться дамы.

§§. Прыщи на губах от частых поцелуев излечиваются не столько мазями, сколько назиданиями родителей и опекунов.

§§. Если у тебя вскочил на левой щеке флюс, то всеми силами постарайся, чтобы такой же флюс вскочил у тебя и на правой, ибо ничто так не ласкает взора, как симметрия.

*Примечание.* Если у тебя флюс, то не позволяй жене бить тебя по щекам.

§§. Если папенька безвозмездно угощает тебя сигарами и старательно скрывает от тебя, что его движимое и недвижимое заложено, если маменька угощает тебя кофеем и сдобными финтифлюшками, если дочка поет «Месяц плывет»<sup>11</sup> и не боится оставаться с тобой наедине, то беги за городом: тебя хотят окрутить.

§§. Травы не мять, почвы не загрязнять и берез не ломать. Последнее может быть допустимо только в интересах педагогики и правосудия.

§§. Если ты влюблен, то возьми: ½ фунта александрийского листа, штоф водки, ложку скипидару, ¼ фунта семибратней крови и ½ фунта жженных «Петербургских ведомостей», смешай всё это и употреби в один прием. Причиненная этим средством болезнь заставит тебя выехать из дачи в город за врачебною помощью и тебе будет не до любви.

§§. Городовым и дворникам вменяется в обязанность наблюдать: а) чтобы объяснения в любви производились высоким слогом; б) чтобы в этих объяснениях не было выражений, клонящихся к ниспровержению дозволенного законом здравого смысла; с) чтобы воспитанники учебных заведений, объясняясь в любви только по-латыни или по-гречески, были в полной форме, дорожили честью своего учебного заведения и, спрягая глагол «ато», не выходили из пределов, указанных Кюнером;<sup>12</sup> d) чтобы особы ниже титулярного держали себя на приличной дистанции от дочерей особ не ниже V класса.

§§. Дачевладельцам и участковым приставам рекомендуется внушать молодым людям, что выражения вроде: «Я готов отдать за тебя весь мир! Ты для меня дороже жизни!» и проч. по меньшей мере неуместны, ибо они могут внушить дворникам и городовым превратные понятия о целях жизни и величии вселенной.

§§. Ложась спать, надевай, на случай могущего быть ночью дождя, калоши и укрывайся брезентом, радуясь, что и сквозь брезент можно выслушивать ропот жены, вопли озябнувших детей и полицейские свистки.

§§. В случае если ограбят тебя дачные мазурики, то поступай в городские и мсти. Другого выхода нет.

<sup>11</sup> ...если дочка поет «Месяц плывет»... – «Месяц плывет по ночным небесам...» – начальные строки популярной серенады К. С. Шиловского (1849—1893) «Тигренок» (в 1882 г. вышла 10-м изданием).

<sup>12</sup> ...спрягая глагол «ато», не выходили из пределов, указанных Кюнером... – «Ато» – «люблю» (лат.); о Кюнере см. комментарии к рассказу «Репетитор» (т. II Сочинений, стр. 547).

§§. Дабы гарантировать свою дачу от нашествия родственников и друзей, распусти слух о своей неблагонадежности.

§§. Вообще: не ходи в светлых брюках, не пей после молока квасу, закаляй свой слух кошачьими концертами и высоким «штилем» старых дев, ешь задаром, пей нашаромыжку, люби на шереметьевский счет, пренебрегай стихиями, аккуратно плати праздничные, уважай родителей, люби начальство – и ты будешь счастлив.

## Письмо к репортеру

М. г.! Мне всё известно! На этой неделе было шесть больших и четыре маленьких пожара. Застрелился молодой человек от пламенной любви к одной девице, эта же девица, узнав о его смерти, помешалась в мыслях. Повесился дворник Гускин от неумеренного употребления. Потонула вчерашнего числа лодка с двумя пассажирами и маленьким дитем... Бедное дите! В «Аркадии» какому-то купцу прожгли на спине дыру и чуть шеи не сломали. Поймали четырех прилично одетых жуликов, и произошло кораблекрушение товарного поезда. Всё мне известно, милостивый государь! Столько разных приятных случаев, столько у вас теперь денег и вы мне ни копейки!.. Этак хорошие господа не делают!

Ваш портной Змирлов.

Сообщил *Человек без селезенки.*

## Брожение умов

*(Из летописи одного города)*

Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся: дошел до 35,8° и в нерешимости остановился... С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал; лень было вытирать.

По большой базарной площади, в виду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихин и ходатай по делам (он же и старинный корреспондент «Сына отечества») Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал.

На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо.

– Что вы смотрите, Евпл Серапионыч?

– Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Туча тучей! Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать... да ежели... В саду отца протоиерея сели!

– Нисколько, Евпл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да и за что их, посудите, убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно, но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем, поет... А для чего он, спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание да хвалит господу. Ой, нет! Кажется, у отца протоиерея сели!

Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лапотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея.

– Да, вы правду сказали, они у отца протоиерея сели, – продолжал Оптимов. – У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать.

Из протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и, вместе с дьячком, стал тоже глядеть вверх, чтобы понять.

– Отец Паисий, надо полагать, на потребу идет, – сказал Почешихин. – Помогай ему бог!

В пространстве между друзьями и отцом протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напугавшего свое внимание на высь поднебесную, и богомолки, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего-слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей.

– Что-то случилось, надо думать, – сказал Почешихин. – Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму! Эй, Кузьма! – крикнул он остановившемуся мужику. – Что там случилось?

Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лабаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным.

– Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь! Чёрт свинячий!

– Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь! Вас честью просят!

– Должно, внутри загорелось!  
– Честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать!  
– На мозоль наступил! А, чтоб тебя раздавило!  
– Кого раздавило? Ребята, человека задавили!  
– Почему такая толпа? За какой надобностью?  
– Человека, ваше выскблаародие, задавило!  
– Где? Рразойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просят тебя, дубина!  
– Мужиков толкай, а благородных не смей трогать! Не прикасайся!  
– Нешто это люди? Нешто их, чертей, проймешь добрым словом? Сидоров, сбегай-ка за Акимом Данилычем! Живо! Господа, ведь вам же плохо будет! Придет Аким Данилыч, и вам же достанется! И ты тут, Парфен?! А еще тоже слепец, святой старец! Ничего не видит, а туда же, куда и люди, не повинуется! Смирнов, запиши Парфена!  
– Слушаю! И пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухши, – это пуровский!

– Пуровских не записывай покуда... Пуров завтра именинник!

Скворцы темной тучей поднялись над садом отца протоиерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их; они стояли и всё глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилыч. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врехался в толпу.

– Пожарные, приготовьсь! Рразойдитесь! Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет! Чем в газеты на порядочных людей писать разные критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественней! Добру-то не научат газеты!

– Прошу вас не касаться гласности! – вспылил Оптимов. – Я литератор и не позволю вам касаться гласности, хотя, по долгу гражданина, и почитаю вас, как отца и благодетеля!

– Пожарные, лей!

– Воды нет, ваше высокоблаародие!

– Не рразговаривать! Поезжайте за водой! Живааа!

– Не на чем ехать, ваше высокоблаародие. Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать!

– Разойдитесь! Сдай назад, чтоб тебя черти взяли... Съел? Запиши-ка его, чёрта!

– Карандаш потерялся, ваше высокоблаародие...

Толпа всё увеличивалась и увеличивалась... Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали попробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав «Стрелочка», толпа ахнула<sup>13</sup> и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один-единственный человек – это пожарный, ходивший на каланче...

Вечером того же дня Аким Данилыч сидел в бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад-газес с коньяком и писал: «Кроме официальной бумаги, смею добавить, ваше —ство, и от себя некоторое присовокупление. Отец и благодетель! Именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов! Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность

<sup>13</sup> Заслышав „Стрелочка“, толпа ахнула... – Песенка К. Франца «Стрелок» («Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать...») пользовалась широкой популярностью в Москве в конце 1870-х годов; так, в заметке 1877 г. «Москва в садах» Н. П. Кичеев писал, что от «Стрелка» «теперь в Москве проходу нет...» («Будильник», 1877, № 22, стр. 7); см. также в воспоминаниях Л. А. Авиловой, относящихся к 1889 г. (Чехов в воспоминаниях современников, стр. 205). Текст «Стрелка» см. в кн.: Стрелок. Сборник опер, водевилей, шансонеток, комических куплетов, сатирических, юмористических стихотворений, романсов, песен, сцен и рассказов из народного малороссийского и еврейского бытов. М., 1882, стр. 163—164.

Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь сими достойными слугами отечества! Я же сделал всё, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему ничего не желающий, и, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами Того, кто не допустил до кровопролития. Виновные, за недостатком улики, сидят пока взаперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества преступили заповедь!»

## Дачное удовольствие

Чиновник межевой канцелярии Чудаков и некто Косинусов тихо подплыли к женской купальне и, выбрав самую широкую щель, стали созерцать.

– Она наверное здесь, – прошептал Косинусов. – Но я ее не вижу.

– А я вижу... В правом углу лежит на простыне...

– Да, да... вижу... Чёрт возьми...

– А она полна!

– Не нахожу... Так себе, посредственно... в самой, что называется, пропорции. Как бы к ней пробраться, чёрт возьми?

– Не стоит, брат, связываться... Ну ее к чёрту!

– Никто не узнает... Я нырну, Миша...

– Башку о пол расколотишь... Не ныряй...

– Так я перелезу через купальню, коли так...

Косинусов поставил ногу на перекладину и полез...

.....

Глаза Чудакова, не отрывавшегося от щели, загорелись завистью .....

Но тут, чтобы не усугублять разочарования читателя, поспешу окончить: дело шло о бутылки с настойкой, которой час тому назад, купаясь, растиралась мамаша Косинусова и которую она, выходя из купальни, забыла взять с собой. Мораль: и молодые люди могут быть пьяницами.

## Идеальный экзамен

*(Краткий ответ на все длинные вопросы)*

Conditio sine qua non<sup>14</sup>: очень умный учитель и очень умный ученик. Первый ехиден и настойчив, второй неуязвим. Как идеальная пожарная команда приезжает за полчаса до пожара, так у идеального ученика готовы ответы за полчаса до вопроса. Для краткости и во избежании большого гонорара<sup>15</sup>, излагаю суть в драматической форме.

Учитель. Вы сейчас сказали, что земля представляет собой шар.<sup>16</sup> Но вы забываете, что на ней есть высокие горы, глубокие овраги, московские мостовые, которые мешают ей быть круглой!

Ученик. Они мешают ей быть круглой столько же, сколько ямочки на апельсине или прыщи на физиономии.

Учитель. А что значит физиономия?

Ученик. Физиономия есть зеркало души, которое так же легко разбивается, как и всякое другое зеркало.

Учитель. А что значит зеркало?

Ученик. Зеркало есть прибор, на котором женщина десять раз в день взвешивает свое оружие. Зеркало – это пробирная палатка для женщины.

Учитель (*ехидственно*). Боже мой, как вы умны! (*Подумав.*) Сейчас я задам вам один вопрос... (*Быстро.*) Что такое жизнь?

Ученик. Жизнь есть гонорар, получаемый не авторами, а их произведениями.

Учитель. А как велик этот гонорар?

Ученик. Он равен тому гонорару, который платят плохие редакции за очень плохие переводы.

Учитель. Так-с... А не можете ли вы сказать нам чего-нибудь о железных дорогах?

Ученик (*быстро и отчетливо*). Железной дорогой, в обширном значении этого слова, называется инструмент, служащий для транспортирования кладей, кровопускания и доставления неимущим людям сильных ощущений. Она состоит собственно из дороги и из железнодорожных правил. Последние суть следующие. Железнодорожные вокзалы подлежат санитарному надзору наравне с бойнями, железнодорожный же путь – наравне с кладбищами: в видах сохранения чистоты воздуха как те, так и другой должны находиться на приличном расстоянии от населенных мест. Особь, транспортируемая по железной дороге, именуется пассажиром, прибыв же к месту своего назначения, переименовывается в покойника. Человек, едущий к тетке в Тамбов или к кухне в Саратов, в случае нежелания своего попасть волею судеб *ad patres*<sup>17</sup>, должен заявить о своем нежелании, но не позже шести месяцев после крушения. Желаящие писать завещания получают чернила и перья у обер-кондуктора за установленную плату. При столкновении поездов, схождении с рельсов и проч. пассажиры обязуются соблю-

<sup>14</sup> Непременное условие (*лат.*)

<sup>15</sup> не понимаю, что в нем хорошего!? Автор.

<sup>16</sup> ...земля представляет собой шар ~ мешают ей быть круглой! – Три недели спустя Чехов писал в «Осколках московской жизни»: «В мае и июне проваливались московские мостовые, и я молчал. В эти месяцы проваливаются на экзаменах гимназисты, проваливаются „начинающие“ антрепренеры – отчего же не проваливаться и мостовым? Так я рассуждал, ожидая исправления... Но в июле я уж не могу молчать...» («Осколки», 1884, № 27, 7 июля, стр. 4).

<sup>17</sup> к праотцам (*лат.*)

дать тишину и держаться за землю. При столкновении двух поездов третий мешаться не должен...

Учитель. Довольно, постойте... Ну, а что такое справедливость?

Ученик. Справедливость есть железнодорожная такса, вывешенная на внутренней стене каждого вагона: за разбитое стекло 2 руб., за разорванную занавеску 3 руб., за оборванную обивку дивана 5 руб., за поломку же собственной персоны в случае крушения пассажир ничего не платит.

Учитель. Кто поливает московские улицы?

Ученик. Дождь.

Учитель. А кто получает за это деньги?

Ученик. (Имя рек).

Учитель. Ну-с... А что вы можете сказать о конно-железной дороге?

Ученик. Конно-железная, или попросту называемая конно-лошадиная дорога состоит из нутра, верхотуры и конно-железных правил. Нутро стоит пять копеек, верхотура три копейки, конно-железные же правила ничего. Первое дано человечеству для удобнейшего созерцания кондукторских нравов, вторая – для засматривания по утрам в декольтированные окна вторых этажей, третьи же для их исполнения. Правила эти суть следующие. Не конка для публики, а публика для конки. При входе кондуктора в вагон публика должна приятно улыбаться. Движение вперед, движение назад и абсолютный покой суть синонимы. Скорость равна отрицательной величине, изредка нулю и по большим праздникам двум вершкам в час. За схождение вагона с рельсов пассажир ничего не платит.

Учитель. Скажите, пожалуйста, для чего это два вагона при встрече друг с другом звонят в колокола и для чего это контролеры отрывают уголки у билетов?

Ученик. То и другое составляет секрет изобретателей.

Учитель. Какой писатель вам больше всех нравится?

Ученик. Тот, который умеет вовремя поставить точку.

Учитель. Резонно... А не знаете ли вы, кто учинил бесчинство, мозолящее в настоящую минуту глаза читателя?

Ученик. Это составляет секрет редакции... Впрочем, для вас я, пожалуй... Я, если хотите, открою вам этот секрет... (*шёпотом*). Бесчинство учинил на старости лет

А. Чехонте

## Водевиль

Обед кончился. Кухарке приказали прибираться со стола как можно тише и не стучать посудой и ногами... Детей поспешили увести в лес... Дело в том, что хозяин дачи, Осип Федорыч Клочков, тощий, чахоточный человек с впалыми глазами и острым носом, вытащил из кармана тетрадь и, конфузливо откашливаясь, начал читать водевиль собственного сочинения. Суть его водевиля не сложна, цензурна и кратка. Вот она. Чиновник Ясносердцев вбегает на сцену и объявляет своей жене, что сейчас пожалует к ним в гости его начальник, действительный статский советник Клещев, которому понравилась дочка Ясносердцевых, Лиза. Засим следует длинный монолог Ясносердцева на тему: как приятно быть тестем генерала! «Весь в звездах... весь в красных лампадах... а ты сидишь рядом с ним и – ничего! Словно ты и в самом таком деле не последняя шишка в круговороте мироздания!» Мечтая таким образом, будущий тесть замечает вдруг, что в комнатах сильно пахнет жареным гусем. Неловко принимать важного гостя, если в комнатах вонь, и Ясносердцев начинает делать жене выговор. Жена, со словами: «На тебя не угодишь», поднимает рев. Будущий тесть хватается за голову и требует, чтобы жена перестала плакать, так как начальников не встречают с заплаканными глазами. «Дура! Утрись... мумия, Иродиада ты невежественная!» С женой истерика. Дочь заявляет, что она не в состоянии жить с такими буйными родителями, и одевается, чтобы уйти из дому. Чем дальше в лес, тем больше дров. Кончается тем, что важный гость застаёт на сцене доктора, прикладывающего к голове мужа свинцовые примочки, и частного пристава, составляющего протокол о нарушении общественной тишины и спокойствия. Вот и всё. Тут же примазан жених Лизы, Гранский, кандидат прав, человек из «новеньких», говорящий о принципах и, по-видимому, изображающий из себя в водевиле доброе начало.

Клочков читал и искоса поглядывал: смеются ли? К его удовольствию, гости то и дело зажимали кулаками рты и переглядывались.

– Ну? Что скажете? – поднял глаза на публику Клочков, окончив чтение. – Как?

В ответ на это самый старший из гостей, Митрофан Николаич Замазурин, седой и лысый, как луна, поднялся и со слезами на глазах обнял Клочкова.

– Спасибо, голубчик, – сказал он. – Утешил... Так хорошо ты это самое написал, что даже в слезы ударило... Дай я тебя еще раз... в объятия...

– Отлично! Замечательно! – вскочил Полумраков. – Талант, совсем талант! Знаешь что, брат? Бросай ты службу и изволь писать! Писать и писать! Подло зарывать талант в землю!

Начались поздравления, восторги, объятия... Послали за русским шампанским.

Клочков растерялся, покраснелся и от избытка чувств заходил вокруг стола.

– Я в себе этот талант давно уже чувствую! – заговорил он, кашляя и махая руками. – Почти с самого детства... Излагаю я литературно, остроумие есть... сцену знаю, потому – в любителях лет десять терся... Что же еще нужно? Поработать бы только на этом поприще, поучиться... и чем я хуже других?

– Действительно, поучиться... – сказал Замазурин. – Это ты верно... Только вот что, голубчик... Ты меня извини, но я правду... Правда прежде всего... У тебя выведен Клещев, действительный статский советник... Это, друг, нехорошо... Оно-то, в сущности, ничего, но как-то, знаешь, неловко... Генерал, то да се... Брось, брат! Еще *наш* рассердится, подумает, что ты это на него... Обидно старику станет... А от него мы акроме *благодетелей*... Наплюй!

– Это правда, – встревожился Клочков. – Нужно будет изменить... Я поставлю везде «ваше высочородие»... Или нет, просто так, без чина... Просто Клещев...

– И вот что еще, – заметил Полумраков. – Это, впрочем, пустяки, но тоже неудобно... глаза режет... У тебя там жених этот, Гранский, говорит Лизе, что ежели родители не захотят, чтоб она за него шла, то он против ихней воли пойдет. Оно-то, может быть, и ничего... может

быть, родители и взаправду бывают свиньи в своем тиранстве, но в наш век, как бы этак выразиться... Достанется тебе, чего доброго!

– Да, немножко резко, – согласился Замазурин. – Ты как-нибудь замажь это место... Выкинь также рассуждение про то, как приятно быть тестем начальника. Приятно, а ты смеешься... Этим, брат, шутить нельзя... *Наши* тоже на бедной женился, так из этого следует, что он скверно поступил? Так, по-твоему? Нешто ему не обидно? Ну, положим, он сидит в театре и видит это самое... Нешто ему приятно? А ведь он же твою руку держал, когда ты с Салалеевым пособия просил! «Он, говорит, человек больной, ему, говорит, деньги нужней, чем Салалееву»... Видишь?

– А ты ведь, признайся, здесь на него намекаешь! – мигнул глазом Булягин.

– И не думал! – сказал Клочков. – Накажи меня бог, совсем ни на кого не намекал!

– Да ну, ну... оставь, пожалуйста! Он, действительно, любит за женским полом бегать... Ты это верно за ним подметил... Только ты тово... частного пристава выпусти... Не нужно... И Гранского этого выпусти... Герой какой-то, чёрт его знает чем занимается, говорит с разными фокусами... Если б ты его осуждал, а то ты, напротив, сочувствуешь... Может быть, он и хороший человек, но... чёрт его разберет! Всё можно подумать...

– А знаете, кто такой Ясносердцев? Эта наш Енякин... На него Клочков намекает... Титулярный советник, с женой вечно дерется и дочка... Он и есть... Спасибо, друг! Так ему, подлецу, и надо! Чтоб не зазнавался!

– Хоть этот, например, Енякин... – вздохнул Замазурин. – Дрянь человек, шельма, а все-таки он всегда тебя к себе приглашает, Настюшу у тебя крестил... Нехорошо, Осип! Выкинь! По-моему... бросил бы лучше! Заниматься этим делом... ей-богу... Разговоры сейчас пойдут: кто, как... почему... И не рад потом будешь!

– Это верно... – подтвердил Полумраков. – Баловство, а из этого баловства такое может выйти, чего и в десять лет не починишь... Напрасно затеваешь, Осип... Не твое и дело... В Гоголи лезть да в Крыловы... Те, действительно, ученые были; а ты какое образование получил? Червяк, еле видим! Тебя всякая муха раздавить может... Брось, брат! Ежели *наши* узнает, то... Брось!

– Ты порви! – шепнул Булягин. – Мы никому не скажем... Ежели будут спрашивать, то мы скажем, что ты читал нам что-то, да мы не поняли...

– Зачем говорить? Говорить не нужно... – сказал Замазурин. – Ежели спросят, ну, тогда... врать не станешь... Своя рубашка ближе к телу... Вот этак вы понастроите разных пакостей, а потом за вас отдувайся! Мне это хуже всего! С тебя, с больного, и спрашивать не станут, а до нас доберутся... Не люблю, ей-богу!

– Потихе, господа... Кто-то идет... Спрячь, Клочков!

Бледный Клочков быстро спрятал тетрадь, почесал затылок и задумался.

– Да, это правда... – вздохнул он. – Разговоры пойдут... поймут различно... Может быть, даже в моем водевиле есть такое, чего нам не видно, а другие увидят... Порву... А вы же, братцы, пожалуйста, тово... никому не говорите...

Принесли русское шампанское... Гости выпили и разошлись...

## Экзамен на чин

– Учитель географии Галкин на меня злобу имеет и, верьте-с, я у него не выдержу сегодня экзамена, – говорил, нервно потирая руки и потея, приемщик X—го почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков, седой, бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. – Не выдержу... Это как бог свят... А злится он на меня совсем из-за пустяков-с. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтоб я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочие. Это не годится... Хоть он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. «Дождитесь, – говорю, – очереди, милостивый государь». Он вспыхнул, и с той поры восстает на меня, аки Саул. Сынишке моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды-с мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь: «Господа, поглядите: марка, бывшая в употреблении, идет!»

Учитель русского языка Пивомедов, стоявший в передней X—го уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил:

– Не волнуйтесь. У нас и примера не было, чтоб вашего брата на экзаменах резали. Проформа!

Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой, словно оборванной бородкой, в парусиновых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше.

Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменуемым впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змиежалов в камилавке и с наперстным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ахахов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам.

Проекзаменовали двух попovichей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проекзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова...

– Вы где служите? – обратился к нему инспектор.

– Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высокородие, – проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. – Прослужил двадцать один год, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин.

– Так-с... Напишите диктант.

Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом, стараясь уловить экзаменуемого на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: «хараша халодная вада, кагда хочица пить» и проч.

Но как ни изошрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал два «н», слово «лучше» написал «лутше», а словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще»; но ведь всё это не грубые ошибки.

– Диктант удовлетворителен, – сказал инспектор.

– Осмелюсь довести до сведения вашего высокородия, – сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина, – осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова,<sup>18</sup> отчасти же обучался ей у племянника Варсонофия, приехавшего на каникулах из Троице-Сергиевской, Вифанской тож, семинарии. И планиметрию учил и стереометрию... всё как есть...

– Стереометрии по программе не полагается.

– Не полагается? А я месяц над ней сидел... Этакая жалость! – вздохнул Фендриков.

– Но оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География – наука почтальонов.

Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов (об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу), но из почтительности сказал: «Точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно:

– Э... скажите мне, какое правление в Турции?

– Известно какое... Турецкое...

– Гм!.. турецкое... Это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга?

– Я географию Смирнова учил<sup>19</sup> и, извините, не отчетливо выучил... Ганг, это которая река в Индии текет... река эта текет в океан.

– Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Аракс? И этого не знаете? Странно... Какой губернии Житомир?

– Тракт 18, место 121.

На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык.

– Как перед истинным богом, ваше высокородие, – забормотал он. – Даже отец протоиерей могут подтвердить... Двадцать один год прослужил и теперь это самое, которое... Век буду бога молить...

– Хорошо, оставим географию. Что вы из арифметики приготовили?

– И арифметику не отчетливо... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Век буду бога молить... С самого Покрова учусь, учусь и... ничего толку... Постарел для умственности... Будьте столь милостивы, ваше высокородие, заставьте вечно бога молить.

На ресницах у Фендрикова повисли слезы.

– Прослужил честно и беспорочно... Говею ежегодно... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Будьте великодушны, ваше высокородие.

– Ничего не приготовили?

– Всё приготовил-с, но ничего не помню-с... Скоро шестьдесят стукнет, ваше высокородие, где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость!

– Уж и шапку с кокардой себе заказал... – сказал протоиерей Змижалов и усмехнулся.

– Хорошо, ступайте!.. – сказал инспектор.

Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль.

– Экая жалость! – бормотал он. – Ведь этакая, скажи на милость, глупость с моей стороны!

<sup>18</sup> ...геометрию я учил из книги Давыдова... – Учебник «Элементарная геометрия в объеме гимназического курса» (М., 1864) был составлен профессором Московского университета А. Ю. Давидовым; за 20 лет выдержал 14 изданий.

<sup>19</sup> Я географию Смирнова учил... – К. Смирнов был автором «Учебной книги по географии», неоднократно переиздававшейся с 1860 г., и многих других учебных курсов по географии для низших и средних учебных заведений.

– Да что такое? – спросил Пивомедов.

– Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней, подлой, сидел. Этакая жалость!

## Хирургия

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки – сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрит, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутылку с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

– А-а-а... мое вам! – зевает фельдшер. – С чем пожаловали?

– С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях».<sup>20</sup> Сел намедни со старухой чай пить и – ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку – и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдаёт, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом...<sup>21</sup> Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих...<sup>22</sup> За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, всё распухши, извините, и ночь не спавши...

– М-да... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

– Отец диакон велели водку с хреном прикладывать – не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

– Предрассудок... (пауза). Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

– Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ночью, отцы родные... по гроб жизни...

– Пустяки... – скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. – Хирургия – пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во всё входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать?

<sup>20</sup> *Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях».* – Псалтырь, псалом 101, «Молитва страждущего...». Речь Вонмигласова насыщена не только прямыми цитатами из книг «священного писания», для нее характерно и свободное использование фразеологии церковнославянского языка. См. об этом в статье С. А. Копорского «О стиле рассказа А. П. Чехова „Хирургия“» («Русский язык в школе», 1960, № 1, стр. 29—34).

<sup>21</sup> *Согрешихом и беззаконновахом...* – Начало песни 7-й песнопения «Помощник и покровитель», исполнявшегося в первую неделю Великого поста.

<sup>22</sup> *...в лености житие мое иждих...* – Из покаянной стихиры «Покаяние отверзи ми двери», исполнявшейся на всенощной в Великий пост.

Выврать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

– Ну-с, раскройте рот пошире... – говорит он, подходя с щипцами к дьячку. – Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и всё... (подрезывает десну) и всё...

– Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

– Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот – раз плюнуть... (накладывает щипцы). Пойдите, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (делает тракцию). Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

– Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

– Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (тянет). Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

– Отцы... радетели... (кричит). Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

– Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты – и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

– Тянул! – говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. – Чтoб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

– А ты зачем руками хватаешь? – сердится фельдшер. – Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

– Сам ты дура!

– Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (дразнит). «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

– Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (садится). Не тьяни только долго, а дергай. Ты не тьяни, а дергай... Сразу!

– Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (накладывает щипцы). Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (делает тракцию). Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (тянет). Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (слышен хрустящий звук). Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

– Было б мне козьей ножкой... – бормочет фельдшер. – Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

– Парршивый чёрт... – выговаривает он. – Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

– Поругайся мне еще тут... – бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. – Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

## Ярмарочное «итога»

В карманах одного московского первой гильдии купца, недавно возвратившегося из нижегородской ярмарки, найдена женою куча бумажек. Бумажки изорваны, помяты, письма на них потерты, но несмотря на это на них можно было разобрать следующее:

М. г. Семен Иванович! Побитый вами артист Хряпунов согласен помириться на ста рублях. Не берет ни копейки меньше. Жду ответа. Ваш адвокат Н. Ерзаев.

Господин невежда купеческого звания! Будучи вами оскорблен по вашей необразованности, я подал жалобу господину мировому судье. Ежели вы сами не понимаете, то пусть правосудие и гласный суд укажут вам, какого я звания человек. Ваш адвокат Ерзаев говорил, что вы не согласны заплатить сто рублей. В таком случае я могу скинуть и возьму с вас за вашу подлость 75 руб. Только из снисхождения к вашему недалекому уму, к вашему животному, так сказать, инстинкту запрашиваю с вас так дешево, с образованных же людей я беру за оскорбление дороже.

Артист Хряпунов.

...по делу о взыскании с вас 539 р. 43 к. по оценке за разбитое зеркало и испорченное вами пианино в ресторане Глухарева...

...Помазывать синяки утром и вечером . . . . .

...А после того как сподобился подмоченный ситец за настоящий спустить должен я дрязнуть. Валяй под вечер к Федосье. Захвати музыканта Кузьму горчицей ему голову мазать да мамзелей штуки четыре. Выбирай какие попухлявей . . . . .

...насчет векселя – на-кося выкуси! По гривеннику с моим удовольствием, а в отношении злостного банкротства бабушка надвое сказала. . . . .

Находясь в белой горячке от употребления излишних напитков (*delirium tremens*)<sup>23</sup>, я ставил вам кровососные банки, чтобы привести вас в надлежащую умственность, за какой труд прошу подателю сей записки уплатить три рубля. Фельдшер Егор Фряков.

Сеня, ты не обижайся. Записал я тебя у мирового в свидетели насчет оскорбления в публичном месте в рассуждении того случая, когда нас били, а ты говоришь, что я зря. Не фордыбачься, потому ведь и тебе за загривок влетело. Не давай синякам сходить, растравляй....

СЧЕТ

1 п. стерляжей ухи – 1 р. 80 к.

1 бут. финь-шампань – 8 р.

За разбитый графин – 5 р.

Извозчик за мамзелями – 2 р.

Щи для цыгана – 60 к.

За порванный фрак на официанте – 10 р.

...Целую тебя несчетно раз и приходи по следующему адресу Мебли. Комнаты Фаянсова номер 18 спросить Марфу Сивягину. Твоя любящая Анжелика.

---

<sup>23</sup> белая горячка (*лат.*)

С подлинным верно:  
*Человек без селезенки.*

## Невидимые миру слезы

(Рассказ)

– Теперь, господа особы, недурно бы поужинать, – сказал воинский начальник Ребротесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компанией в одну темную августовскую ночь из клуба. – В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно, а у нас, в нашем вонючем Червянке, кроме водки да чая с мухами, ни бельмеса не получишь. Хуже нет ничего, ежели ты выпивши и закусить нечем!

– Да, недурно бы теперь что-нибудь этакое... – согласился инспектор духовного училища Иван Иваныч Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто. – Сейчас два часа и трактиры заперты, а недурно бы этак селедочку... грибочков, что ли... или чего-нибудь вроде этакое, знаете...

Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать. Думала-думала и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями.

– Важную я вчера у Голопесова индейку ел! – вздохнул помощник исправника Пружина-Пружинский. – Между прочим... вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают... Берут карасей обыкновенных, еще живых... животрепещущих, и в молоко... День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом как их в сметане на скворчащей сковородке изжарят, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов! Ей-богу... Особливо, ежели рюмку выпьешь, другую. Ешь и не чувствуешь... в каком-то забыты... от аромата одного умрешь!..

– И ежели с просоленными огурчиками... – добавил Ребротесов тоном сердечного участия. – Когда мы в Польше стояли, так, бывало, пельменей этих зараз штук двести в себя вопрешь... Наложить их полную тарелку, поперчишь, укропом с петрушкой посыплешь и... нет слов выразить!

Ребротесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и не заметил, как в калоши его набралась грязь.

– Нет, не могу! – сказал он. – Не могу дольше терпеть! Пойду к себе и удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдете-ка и вы ко мне! Ей-богу! Выпьем по рюмочке, закусим чем бог послал. Огурчика, колбаски... самоварчик изобразим... А? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним... Жена спит, но мы ее и будить не станем... потихоньку... Пойдемте!

Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребротесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь.

– Я тебе уши оборву! – сказал воинский начальник денщику, вводя гостей в темную переднюю. – Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтобы, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой! Поди, дурак, самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она тово... принесла из погреба огурцов и редьки... Да почисть селедочку... Луку в нее покроши зеленого да укропом посыплешь этак... знаешь, и картошки кружочками нарежешь... И свеклы тоже... Всё это уксусом и маслом, знаешь, и горчицы туда... Перцем сверху поперчишь... Гарнир, одним словом... Понимаешь?

Ребротесов пошевелил пальцами, изображая смещение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в слова... Гости сняли калоши и вошли в темный зал. Хозяин чиркнул

спичкой, навонял серой и осветил стены, украшенные премиями «Нивы», видами Венеции и портретами писателя Лажечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами.

– Мы сейчас... – зашептал хозяин, тихо поднимая крылья у стола. – Соберу вот на стол и сядем... Маша моя что-то больна сегодня. Уж вы извините... Женское что-то... Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи... Очень может быть! «Душенька, говорю, дело ведь не в пище! Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю... Постное, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему... Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, не огорчайся, не произноси слов...» И слушать не хочет! «С детства, говорит, мы приучены».

Вошел денщик и, вытянув шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Ребротесов пошевелил бровями...

– М-да... – промычал он. – Гм... тэк-с... Это, впрочем, пустяки... Я сейчас, в одну минуту... Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять...

Ребротесов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к жене... Жена его спала.

– Машенька! – сказал он, осторожно приблизившись к кровати. – Проснись, Машуня, на секундочку!

– Кто? Это ты? Чего тебе?

– Я, Машенька, относительно вот чего... Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся... Спи себе... Я сам с ними похлопочу... Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду... Побей меня бог. Двоеточиев, знаешь, Пружина-Пружинский и еще некоторые... Прекрасные все люди... уважаемые обществом... Пружинский даже Владимира четвертой степени имеет... Он уважает тебя так...

– Ты где это налился?

– Ну, вот ты уже и сердисься... Какая ты, право... Дам им по огурчику, вот и всё... И уйдут... Я сам распоряжусь, а тебя и не побеспокоим... Лежи себе, куколка... Ну, как твое здоровье? Был Гусин без меня? Даже вот ручку поцелую... И гости все уважают тебя так... Двоеточиев религиозный человек, знаешь... Пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так... «Марья, говорят, Петровна – это, говорят, не женщина, а нечто, говорят, неудобопонятное... Светило нашего уезда».

– Ложись! Будет тебе городить! Налижется там в клубе со своими шалаберниками, а потом и бурлит всю ночь! Постыдился бы! Детей имеешь!

– Я... детей имею, но ты не раздражайся, Манечка... не огорчайся... Я тебя ценю и люблю... И детей, бог даст, пристрою. Митю, вот, в гимназию повезу... Тем более, что я их не могу прогнать... Неловко... Зашли за мной и попросили есть. «Дайте, говорят, нам поесть»... Двоеточиев, Пружина-Пружинский... милые такие люди... Сочувствуют тебе, ценят. По огурчику дать им, по рюмке и... пусть себе с богом... Я сам распоряжусь...

– Вот наказание! Ошалел ты, что ли? Какие гости в эту пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить! Где это видано, чтоб ночью в гости ходили?... Трактир им здесь, что ли? Дура буду, ежели ключи дам! Пусть проспятся, а завтра и приходят!

– Гм... Так бы и сказала... И унижаться бы перед тобой не стал... Выходит, значит, что ты мне не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а... неприлично выразиться... Змеей была, змея и есть...

– А-а... так ты еще ругаться, язва?

Супруга приподнялась и... воинский начальник почесал щеку и продолжал:

– Мерси... Правду раз читал я в одном журнале: «В людях ангел – не жена, дома с мужем – сатана»...<sup>24</sup> Истинная правда... Сатаной была, сатана и есть...

<sup>24</sup> «В людях ангел – не жена, дома с мужем – сатана» – Название водевиля, переделанного Д. Т. Ленским из французской комедии «L'ange dans le monde et le diable a la maison»; поставлен впервые в сезон 1841/42 г. на сценах Александринского

– На же тебе!

– Дерись, дерись... Бей единственного мужа! Ну, на коленях прошу... Умоляю... Манечка!.. Прости ты меня!.. Дай ключи! Манечка! Ангел! Лютое существо, не срами ты меня перед обществом! Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Дерись... Бей... Мерси... Умоляю, наконец!

Долго беседовали таким образом супруги... Ребротесов становился на колени, два раза плакал, бранился, то и дело почесывал щеку... Кончилось тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала:

– Вижу, что конца не будет моим мучениям! Подай со стула мое платье, махамет!

Ребротесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос: кто старше – генерал или писатель Лажечников? Двоеточиев держал сторону Лажечникова, напирая на бессмертие, Пружинский же говорил:

– Писатель-то он, положим, хороший, спору нет... и смешно пишет и жалостно, а отправь-ка его на войну, так он там и с ротой не справится; а генералу хоть целый корпус давай, так ничего...

– Моя Маша сейчас... – перебил спор вошедший хозяин. – Сию минуту...

– Мы вас беспокоим, право... Федор Акимыч, что это у вас со щекой? Батюшка, да у вас и под глазом синяк! Где это вы угостились?

– Щека? Где щека? – сконфузился хозяин. – Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке, хочу ее испугать, да как стукнусь в потемках о кровать! Ха-ха... Но вот и Манечка... Какая ты у меня растрепе, Манюня! Чистая Луиза Мишель!<sup>25</sup>

В зал вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая.

– Вот это мило с вашей стороны, что зашли! – заговорила она. – Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью заташил. Сплю сейчас и слышу голоса... «Кто бы это мог быть?» – думаю... Федя велел мне лежать, не выходить, ну, а я не вытерпела...

Супруга сбегала в кухню, и ужин начался...

– Хорошо быть женатым! – вздыхал Пружина-Пружинский, выходя через час с компанией из дома воинского начальника. – И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется... Знаешь, что есть существо, которое тебя любит... И на фортепьянах сыграет что-нибудь эдакое... Счастлив Ребротесов!

Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену.

– Не стучи сапогами, жёрнов! – сказала жена. – Спать не даешь! Налижется в клубе, а потом и шумит, образина!

– Только и знаешь, что бранишься! – вздохнул инспектор. – А поглядела бы ты, как Ребротесовы живут! Господи, как живут! Глядишь на них и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня Ягой на свет уродилась. Подвинься!

Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул.

---

и Малого театров.

<sup>25</sup> *Какая ты у меня растрепе, Манюня! Чистая Луиза Мишель!* – Луиза Мишель – французская революционерка, участница Парижской Коммуны (1830—1905); в марте 1883 г. выступала на митингах анархистов в Париже. За «участие в уличных беспорядках», сообщил обозреватель журнала «Всемирная иллюстрация» 18 июня 1883 г., суд приговорил Луизу Мишель к шестилетнему тюремному заключению.

## Идиллия

На быстром, как молния, лихаче вы подкатываете к подъезду, залитому светом... Минуту солидного швейцара с сверкающей булавой, вы заносите ногу на ступень, покрытую бархатным ковром, и через мгновение вас окутывает роскошь тропических растений. Стройные пальмы, латании и филодендроны отражаются в бесконечных зеркалах и, образуя океан зелени, уносят ваше воображение в страну Купера и Майн-Рида. Вы, очарованный, замираете; но вскоре неистовый вихрь бешеного вальса воскрешает вашу чуткую душу, и вы вновь чувствуете себя в Европе – в гнезде цивилизации... Огненные взоры неземных, поэтических созданий шлют вам любовь, обнаженные плечи манят вас в прошлое... Вы начинаете вспоминать... Детство, юность с ее розами, она... Странно! Час тому назад вы были убеждены, что вы не способны любить, что душа ваша умерла навсегда, навеки, что вам смешон этот лепет, смешон этот вальс... и что же? Сегодня ваша душа вновь живет тем, над чем хохотала вчера.

Утомленный вальсом, изнемогший, чувствующий сладкую истому, вы садитесь за зеленый стол... Тут новая серия наслаждений... Проходит полчаса – и желтая бумажка, которую вы в начале игры положили перед собой, обращается в гору банковых билетов, акций, векселей... Чувство, знакомое Крезу и Ротшильду, охватывает вашу душу... Но это не всё... Судьба, по-видимому, решила не останавливаться... Двое честных плембеев с лицами, изможденными трудами и страданиями, берут вас под руки и ведут... Вы чувствуете себя первосвященником, ведомым послушными жрецами... Проходит полная ожиданий минута – и две мощные руки спускают вас вниз по мраморной, украшенной статуями лестнице. Воздух оглашается звуком классического подзатыльника, и вы, катясь вниз, видите улыбку, которую шлет вам мраморная Венера...

## Хамелеон

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов. – Ребята, не пушай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубаше и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватается собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пушай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

– Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городской.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» да и самый палец имеет вид знамени победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

– По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... – начинает Хрюкин, кашляя в кулак. – Насчет дров с Митрий Митричем, – и вдруг эта подлая ни с того, ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пушай мне заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

– Гм!.. Хорошо... – говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. – Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!.. Елдырин, – обращается надзиратель к городскому, – узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

– Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы.

– Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

– Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она – не будь дура и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

– Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пушай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жан-дарах... ежели хотите знать...

– Не рассуждать!

– Нет, это не генеральская... – глубокомысленно замечает городской. – У генерала таких нет. У него всё больше легавые...

– Ты это верно знаешь?

– Верно, ваше благородие...

– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – чёрт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И такую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись такая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

– А может быть, и генеральская... – думает вслух городской. – На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.

– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

– Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая... Истребить, вот и всё.

– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и всё лицо его заливадается улыбкой умиления. – Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

– В гости...

– Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

## Из огня да в полымя

У регента соборной церкви Градусова сидел адвокат Калякин и, вертя в руках повестку от мирового на имя Градусова, говорил:

– Что ни говорите, Досифей Петрович, а вы виноваты-с. Я уважаю вас, ценю ваше расположение, но при всем том с прискорбием должен вам заметить, что вы были неправы. Да-с, неправы. Вы оскорбили моего клиента Деревяшкина... Ну, за что вы его оскорбили?

– Кой чёрт его оскорблял? – горячился Градусов, высокий старик с узким, мало обещающим лбом, густыми бровями и с бронзовой медалькой в петлице. – Я ему только мораль нравственную прочел, только! Дураков нужно учить! Ежели дураков не учить, то тогда от них прохода не будет.

– Но, Досифей Петрович, вы ему не наставление прочли. Вы, как заявляет он в своем прошении, публично тыкали на него, называли его ослом, мерзавцем и тому подобное... и даже раз подняли руку, как бы желая нанести ему оскорбление действием.

– Как же его не бить, ежели он того стоит? Не понимаю!

– Но поймите же, что вы не имеете на это никакого права!

– Я не имею права? Ну, уж это извините-с... Подите кому другому рассказывайте, а меня не морочьте, сделайте милость. Он у меня после того, как его из архиерейского хора честью по шее попросили, в моем хоре десять лет прослужил. Я ему благодетель, ежели желаете знать. Ежели он сердится, что я его из хора прогнал, то сам же он виноват. Я его за философию прогнал. Философствовать может только образованный человек, который курс кончил, а ежели ты дурак, не высокого ума, то ты сиди себе в уголку и молчи... Молчи да слушай, как умные говорят, а он, болван, бывало, так и норовит, чтоб что-нибудь этакое запустить. Тут спевка или обедня идет, а он про Бисмарка да про разных там Гладстонов. Верите ли, газету, каналья, выписывал! А сколько раз я его за русско-турецкую войну по зубам бил, так вы себе представить не можете! Тут нужно петь, а он наклонится к тенорам да и давай им рассказывать про то, как наши динамитом турецкий броненосец «Лютфи-Джелил» взорвали...<sup>26</sup> Нешто это порядок? Конечно, приятно, что наши победили, но из этого не следует, что петь не надо... Можешь и после обедни поговорить. Свинья, одним словом.

– Стало быть, вы и прежде его оскорбляли!

– Прежде он и не обижался. Чувствовал, что я это для его же пользы, понимал!.. Знал, что старшим и благодетелям грех прекословить, а как в полицию в писаря поступил – ну и шабаш, зазнался, перестал понимать. Я, говорит, теперь не певчий, а чиновник. На коллежского регистратора, говорит, экзамен держать буду. Ну и дурак, говорю... Поменьше бы ты, говорю, философию разводил да почаще бы нос утирал, так это лучше было бы, чем о чинах думать. Тебе, говорю, не чины свойственны, а убожество. И слушать не хочет! Да вот хоть бы взять этот случай – за что он на меня мировому подал? Ну, не хамово ли отродье? Сижу я в трактире Самоплюева и с нашим церковным старостой чай пью. Публики тьма, ни одного свободного места... Гляжу, и он сидит тут же, со своими писарями пиво трескает. Франт такой, морду поднял, орет... руками размахивает... Прислушиваюсь – про холеру говорит... Ну, что вы с ним тут поделаете? Философствует! Я, знаете ли, молчу, терплю... Болтай, думаю, болтай... Язык без костей... Вдруг на беду машина заиграла... Расчувствовался он, хам, поднялся и говорит своим приятелям: «Выпьем, говорит, за процветание! Я, говорит, сын своего отечества и славянофил своей родины! Положу свою единственную грудь! Выходите, враги, на одну

<sup>26</sup> ...как наши динамитом турецкий броненосец «Лютфи-Джелил» взорвали... – Эпизод из русско-турецкой войны. Корреспонденция о взрыве турецкого монитора «Лютфи-Джелил», происшедшем 29 апреля 1877 г., и гравюры с изображением его опубликованы в «Иллюстрированной хронике войны», т. I, 1877, № 9, стр. 67—70.

руку! Кто со мной не согласен, того я желаю видеть!» И как стукнет кулаком по столу! Тут уж я не вытерпел... Подхожу к нему и говорю деликатно: «Послушай, Осип... Ежели ты, свинья, ничего не понимаешь, то лучше молчи и не рассуждай. Образованный человек может умствовать, а ты смиришься. Ты тля, пепел...» Я ему слово, он мне десять... Пошло и пошло... Я ему, конечно, на пользу, а он по глупости... Обиделся – вот и подал мировому...

– Да, – вздохнул Калякин. – Плохо... Из-за каких-нибудь пустяков и чёрт знает что вышло. Человек вы семейный, уважаемый, а тут суд этот, разговоры, перетолки, арест... Покончить это дело нужно, Досифей Петрович. Есть у вас один выход, на который соглашется и Деревяшкин. Вы пойдете сегодня со мной в трактир Самоплюева в шесть часов, когда собираются там писаря, актеры и прочая публика, при которой вы оскорбили его, и извинитесь перед ним. Тогда он возьмет свое прошение назад. Поняли? Полагаю, что вы согласитесь, Досифей Петрович... Говорю вам, как другу... Вы оскорбили Деревяшкина, осрамили его, а главное заподозрили его похвальные чувства и даже... профанировали эти чувства. В наше время, знаете ли, нельзя так. Надо поосторожней. Вашим словам придан оттенок этакий, как бы вам сказать, который в наше время, одним словом, не того... Сейчас без четверти шесть... Угодно вам идти со мной?

Градусов замотал головой, но когда Калякин нарисовал ему в ярких красках «оттенок», приданный его словам, и могущие быть от этого оттенка последствия, Градусов струсил и согласился.

– Вы, смотрите же, извинитесь как следует, по форме, – учил его адвокат по пути в трактир. – Подойдите к нему и на «вы»... «Извините... беру свои слова назад» и прочее тому подобное.

Придя в трактир, Градусов и Калякин нашли в нем целое сборище. Тут сидели купцы, актеры, чиновники, полицейские писаря – вообще вся «шваль», имевшая обыкновение собираться в трактире по вечерам, пить чай и пиво. Между писарями сидел и сам Деревяшкин, малый неопределенного возраста, бритый, с большими неморгающими глазами, придавленным носом и такими жесткими волосами, что, при взгляде на них, являлось желание чистить сапоги... Его лицо было так счастливо устроено, что, раз взглянув на него, можно было узнать всё: что он и пьяница, и поет басом, и глуп, но не настолько, чтоб не считать себя очень умным человеком. Увидев входящего регента, он приподнялся и, как кот, пошевелил усами. Собирище, по-видимому предуведомленное о том, что будет публичное покаяние, наострило уши.

– Вот... Господин Градусов согласен! – сказал Калякин, входя.

Регент кое с кем поздоровался, громко высморкался, покраснел и подошел к Деревяшкину.

– Извините... – забормотал он, не глядя на него и пряча в карман платок. – При всем обществе беру свои слова назад.

– Извиняю! – пробасил Деревяшкин и, победоносно взглянув на всю публику, сел. – Я удовлетворен! Господин адвокат, прошу прекратить мое дело!

– Я извиняюсь, – продолжал Градусов. – Извините... Не люблю неудовольствий... Хочешь, чтоб я тебе «вы» говорил, изволь, буду... Хочешь, чтоб я тебя за умного почитал, изволь... Мне наплевать... Я, брат, не злопамятен. Шут с тобой...

– Да вы позвольте-с! Вы извиняйтесь, а не ругайтесь!

– Как же мне еще извиняться? Я извиняюсь! Только что вот не «выкнул», так это по забывчивости. Не на коленки же мне становиться... Извиняюсь и даже благодарю бога, что у тебя хватило ума это дело прекратить. Мне некогда по судам шляться... Век я не судился, судиться не буду и тебе не советую... вам то-есть...

– Конечно! Не желаете ли выпить для сан-стефанского миру?<sup>27</sup>

– И выпить можно... Только ты, брат, Осип, свинья... Это я не то что ругаюсь, а так... к примеру... Свинья, брат! Помнишь, как ты у меня в ногах валялся, когда тебя из архиерейского хора по шее? А? И ты смеешь на благодетеля жалобу подавать? Рыло ты, рыло! И тебе не стыдно? Господа посетители, и ему не стыдно?

– Позвольте-с! Это опять выходит ругательство!

– Какое ругательство? Я тебе только говорю, наставляю... Помирился и в последний раз говорю, я ругаться не думаю... Стану я с тобой, с лешим, связываться после того, как ты на своего благодетеля жалобу подал! Да ну тебя к чёрту! И говорить с тобой не желаю! А ежели я тебя сейчас свиньей нечаянно обозвал, так ты и есть свинья... Вместо того, чтоб за благодетеля вечно бога молить, что он тебя десять лет кормил да нотам выучил, ты жалобу глупую подаешь да разных чертей адвокатов подсылаешь.

– Позвольте же, Досифей Петрович, – обиделся Калякин. – Не черти у вас были, а я был!.. Поосторожней, прошу вас!

– Да нешто я про вас? Ходите хоть каждый день, милости просим. Только мне удивительно, как это вы курс кончили, образование получили, а вместо того, чтоб этого индюка наставлять, руку его держите. Да я бы его на вашем месте в остроге сгноил! И потом, чего вы сердитесь? Ведь я извинялся? Чего же вам от меня еще нужно? Не понимаю! Господа посетители, вы будьте свидетелями, я извинялся, а извиняться в другой раз перед каким-нибудь дураком я не намерен!

– Вы сами дурак! – прохрипел Осип и в негодовании ударил себя по груди.

– Я дурак? Я? И ты можешь мне это говорить?..

Градусов побагровел и затрясся...

– И ты осмелился? На же тебе!.. И кроме того, что я тебе, подлецу, сейчас оплеуху дал, я еще на тебя мировому подам! Я покажу тебе, как оскорблять! Господа, будьте свидетели! Господин околоточный, что же вы стоите там и смотрите? Меня оскорбляют, а вы смотрите? Жалованье получаете, а как за порядком смотреть, так и не ваше дело? А? Вы думаете, что на вас и суда нет?

К Градусову подошел околоточный, и – началась история.

Через неделю Градусов стоял перед мировым судьей и судился за оскорбление Деревяшкина, адвоката и околоточного надзирателя, при исполнении последним своих служебных обязанностей. Сначала он не понимал, истец он или обвиняемый, потом же, когда мировой приговорил его «по совокупности» к двухмесячному аресту, то он горько улыбнулся и проворчал:

– Гм... Меня оскорбили, да я же еще и сидеть должен... Удивление... Надо, господин мировой судья, по закону судить, а не умствуя. Ваша покойная маменька, Варвара Сергеевна, дай бог ей царство небесное, таких, как Осип, сечь приказывала, а вы им поблажку даете... Что ж из этого выйдет? Вы их, шельмов, оправдаете, другой оправдает... Куда же идти тогда жаловаться?

– Приговор может быть обжалован в двухнедельный срок... и прошу не рассуждать! Можете идти!

– Конечно... Нынче ведь на одно жалованье не проживешь, – проговорил Градусов и подмигнул значительно. – Поневоле, ежели кушать хочется, невинного в кутузку засадишь... Это так... И винить нельзя...

– Что-с?!

– Ничего-с... Это я так... насчет хапен зи гевезен... Вы думаете, как вы в золотой цепи, так на вас и суда нет? Не беспокойтесь... Выведу на чистую воду!

---

<sup>27</sup> Не желаете ли выпить для сан-стефанского миру? – В Сан-Стефано, близ Константинополя, 19 февраля 1878 г. был заключен предварительный договор об окончании войны между Россией и Турцией.

Закипело дело «об оскорблении судьи»; но вступился соборный протоиерей, и дело кое-как замяли.

Перенося свое дело в съезд, Градусов был убежден, что не только его оправдают, но даже Осипа посадят в острог. Так он думал и во время самого разбирательства. Стоя перед судьями, он вел себя миролюбиво, сдержанно, не говоря лишних слов. Раз только, когда председатель предложил ему сесть, он обиделся и сказал:

– Нешто в законах написано, чтоб регент рядом со своим певчим сидел?

А когда съезд утвердил приговор мирового судьи, он прищурил глаза...

– Как-с? Что-с? – спросил он. – Это как же прикажете понимать-с? Это вы о чем же-с?

– Съезд утвердил приговор мирового судьи. Если вы недовольны, то можете подавать в сенат.

– Так-с. Чувствительно вас благодарим, ваше превосходительство, за скорый и праведный суд. Конечно, на одно жалованье не проживешь, это я отлично понимаю, но извините-с, мы и неподкупный суд найдем.

Не стану приводить всего того, что Градусов наговорил съезду... В настоящее время он судится за «оскорбление съезда» и слушать не хочет, когда знакомые стараются объяснить ему, что он виноват... Он убежден в своей невинности и верует, что рано или поздно ему скажут спасибо за открытые им злоупотребления.

– Ничего с этим дураком не поделаешь! – говорит соборный настоятель, безнадежно помахивая рукой. – Не понимает!

## Надлежащие меры

Маленький, заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городского врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые... Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вони, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет:

– Вот так бы нам, господа, почаще собираться да рассуждать! И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся. Да ей-богу!

– С кого бы нам начать? – обращается торговый депутат к врачу тоном палача, выбирающего жертву. – Не начать ли нам, Аникита Николаич, с лавки Ошейникова? Мошенник, во-первых, и... во-вторых, пора уж до него добраться. Намедни приносят мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет... Жена так и не ела!

– Ну что ж? С Ошейникова начинать, так с Ошейникова, – говорит безучастно врач.

Санитары входят в «Магазин чаю, сахару и кофию и прочих колоннеальных товаров А. М. Ошейникова» и тотчас же, без длинных предисловий, приступают к ревизии.

– М-да-с... – говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. – Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил! Изобретательность, подумаешь! Э... э... э! Это что же такое? Поглядите, господа! Демьян Гаврилыч изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать!

– От этого холеры не выйдет-с, Аникита Николаич! – резонно замечает хозяин.

– Оно-то так, но ведь противно! Ведь и я у тебя хлеб покупаю.

– Для кого поблагородней, мы особый нож держим. Будьте покойны-с... Что вы-с...

Полицейский надзиратель шурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает:

– А он у тебя, бывает, не с стрихнинами?

– Что вы-с... Помилуйте-с... Нешто можно-с!

Надзиратель конфузится, отходит от окорока и шурит глаза на прейскурант Асмолова и Ко. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое... Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность.

– Кисаньки... кисаньки! Манюнечки мои! – лепечет он. – Лежат в крупе и мордочки подняли... нежатся... Ты бы, Демьян Гаврилыч, прислал мне одного котеночка!

– Это можно-с... А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть... Селедки вот, сыр... балык, изволите видеть... Балык в четверг получил, самый лучшшш... Мишка, дай-ка сюда ножик!

Санитары отрезают по куску балыка и, понюхав, пробуют.

– Закушу уж и я кстати... – говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилыч. – Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить... Другой вкус тогда... Мишка, дай-ка сюда бутылочку.

Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок.

– Пить натошак... – говорит полицейский надзиратель, в нерешимости почесывая затылок. – Впрочем, ежели по одной... Только ты поскорей, Демьян Гаврилыч, нам некогда с твоей водкой!

Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко. Тут, как назло, пройти негде... Человек пять молодцов, с красными, вспотевшими физиономиями, катят из лавки бочонок с маслом.

– Держи вправо!.. Тяни за край... тяни, тяни! Брусок подложи... а, чёрт! Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим!

Бочонок застревает в дверях и – ни с места... Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопенье и бранясь на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок, наконец, выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопенье начинается снова.

– Тьфу! – плюет надзиратель. – Пойдемте к Шибукину. Эти черти до вечера будут пыхтеть.

Шибукинскую лавку санитары находят запертой.

– Да ведь она же была отперта! – удивляются санитары, переглядываясь. – Когда мы к Ошейникову входили, Шибукин стоял на пороге и медный чайник полоскал. Где он? – обращаются они к нищему, стоящему около запертой лавки.

– Подайте милостыньку, Христа ради, – сипит нищий, – убогому калеке, что милость ваша, господа благодетели... родителям вашим...

Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от думы, Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией.

Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они не даром: один из городских, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками.

– Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть, – говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренсковый погреб вин и водок». – Подкрепиться бы.

– М-да, не мешает. Зайдемте, если хотите!

Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка.

– Жаль, что закусить нечем, – говорит торговый депутат, выпивая и морщась. – Огурчика дал бы, что ли... Впрочем...

Депутат поворачивается к городовому с лотком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает.

– Ах... тут есть и не очень гнилые! – как бы удивляется надзиратель. – Дай-ка и я себе выберу! Да ты поставь здесь лоток... Какие лучше – мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожить. Аникита Николаич, наливайте! Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. А то живешь-живешь в этой глуши, никакого образования, ни клуба, ни общества – Австралия, да и только! Наливайте, господа! Доктор, яблочек! Самолично для вас очистил!

.....

– Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? – спрашивает городской надзирателя, выходящего с компанией из погреба.

– Ло...лоток? Который лоток? П-понимаю! Уничтожь вместе с яблоками... потому – зараза!

– Яблоки вы изволили скушать!

– А-а... очень приятно! Послушш... поди ко мне домой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась... Я только на часок... к Плюнину спать... Понимаешь? Спать... объятия Морфея. Шпрехен зи дейч, Иван Андреич.<sup>28</sup>

И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит:

– Так и вся жизнь наша!

---

<sup>28</sup> *Шпрехен зи дейч, Иван Андреич.* – Цитата из «Мертвых душ» Гоголя; в гл. VIII и X повторяется немецкое выражение «Sprechen Sie deutsch» («Говорите ли Вы по-немецки») как поговорка, соединенная с обращением к почтмейстеру Ивану Андреичу.

## «Кавардак в риме»

*Комическая странность в 3-х действиях, 5-ти картинах, с прологом и двумя провалами*

### Действующие лица:

Г р а ф Ф а л ь к о н и, очень толстый человек.

Г р а ф и н я, его неверная жена.

Л у н а, приятная во всех отношениях планета.

А р т у р, художник-чревоушитель, поющий чревом.<sup>29</sup>

Г е с с е, художник. Просят не смешивать со спичечным фабрикантом и коробочным сатириком Гессе.<sup>30</sup>

С и р о т к а, в красных чулочках. Невинна и добродетельна, но не настолько, чтобы стесняться в выборе мужского костюма.

Л е н т о в с к и й, с ножницами. Разочарован.

К а с с а, старая дева.

Б о л ь ш о й С б о р, М а л е н ь к и й С б о р – ее дети.

Барабанщики, факиры, монахини, лягушки, бык из папье-маше, один лишний художник, тысяча надежд, злые гении и проч.

### Пролог

Начинается апофеозом по рисунку Шехтеля<sup>31</sup>: *Касса*, бледная, тощая, держит на руках голодного сына своего, *Маленького Сбора*, и с мольбою глядит на публику. *Лентовский* заносит кинжал, стараясь убить Маленького Сбора, но это ему не удастся, так как кинжал туп. Картина. Бенгальские огни, стоны... Через сцену пролетает вампир.

Л е н т о в с к и й. Убью тебя, о, ненавистный ребенок! Иван, подай мне сюда другой нож! (*Иван, похожий на Андраши*,<sup>32</sup> *подает ему нож, но в это время спускается Злой гений*.)

З л о й г е н и й (*шепчет Лентовскому*). Поставь «Кавардак в Риме» – и дело в шляпе: Маленький Сбор погибнет.

Л е н т о в с к и й (*хлопает себя по лбу*). И как это я раньше не догадался! Григорий Александрович<sup>33</sup>, ставьте «Кавардак В Риме»! (*Слышен голос Арбенина: «Шикарно!»*) С процессией, чёрт возьми! (*Засыпает в сладких надеждах*.)

<sup>29</sup> ...Артур ~ поющий чревом. – Актер Леонов.

<sup>30</sup> ...со спичечным фабрикантом и коробочным сатириком Гессе... – А. Гессе – владелец спичечной фабрики в Рузе.

<sup>31</sup> ...апофеозом по рисунку Шехтеля... – Ф. О. Шехтель (1859—1926) – художник, друг Н. П. Чехова, участвовал в оформлении спектаклей в театрах Лентовского. Но в афишах к этому спектаклю значились другие художники: «Декорации: 1-го действия г. Вальца и г. Руль, 3-го действия 1-й картины г. Вальца, 2-й картины г. Деллерт» (ГЦТМ).

<sup>32</sup> ...похожий на Андраши... – Д. Андраши (Andrassy) (1823—1890), граф, венгерский политический деятель, в 1871—1879 гг. министр иностранных дел Австро-Венгрии.

<sup>33</sup> Григорий Александрович – Арбенин.

## Действие I

Сиротка (*сидит на камушке*). Я влюблена в Артура... Больше я вам ничего не могу сказать. Сама я маленькая, голос у меня маленький, роль маленькая, а если я говорю большие длинноты, так на то у вас уши и терпение есть. Я-то еще ничего, а вот подождите-ка, какой длиннотой угостит вас сейчас Тamarin! Еще и не так поморщитесь! (*Киснет.*)

Луна. Гм! (*Зевает и хмурится.*)

Рафаэли – Тamarin<sup>34</sup> (*входит*). Я сейчас вам расскажу... Дело, видите ли, вот в чем... (*набирает в себя воздуха и начинается длиннейший монолог. Два раза он садится, пять раз утирает пот, в конце концов хрипнет и, чувствуя в горле предсмертную агонию, умоляюще глядит на Лентовского*).

Лентовский (*звякая ножницами*). Ужо надо будет урезать.

Луна (*хмурясь*). Не удрать ли? Судя по первому действию, из оперетки одна только грусть выйдет.

Рафаэли (*покупает у Сиротки картину Артура за тысячу рублей*). Выдам за свою картину.

Фалькони (*входит с графиней*). В первом действии не нужны ни я, ни моя супруга, но тем не менее волею автора позвольте представиться... Моя супруга, изменщица. Прошу любить и жаловать... Если не смешно, то извините.

Графиня (*изменяет мужу*). Беда быть женою ревнивого мужа! (*Изменяет мужу.*)

Гессе. Я лишний на сцене, а между тем стою здесь... Куда деть руки? (*Не зная, куда деть руки, ходит.*)

Сиротка (*взяв от Рафаэли деньги, едет в Рим к Артуру, в которого влюблена. Для неизвестной цели переодевается в мужское платье. За ней едут в Рим все*).

Луна. Какая смертоносная скучища... Не затмится ли мне? (*Начинается затмение луны.*)

## Действия II и III

Графиня (*изменяет мужу*). Артур душка...

Сиротка. Поступлю к Артуру в ученики. (*Поступает и киснет. Ей подносят венок honoris causa.*)<sup>35</sup>

Артур. Я влюблен в графиню, но мне нужна не такая любовь... Я хочу любить тихо, платонически...

Графиня (*изменяет мужу*). Какой хороший мальчишка (*заглядывается на Сиротку*). Дай-ка я с ним поцелуюсь! (*Изменяет мужу и Артуру.*)

Артур. Я возмущен!

Сиротка (*переодевается в женское платье*). Я женщина! (*Выходит за внезапно полюбившего ее Артура.*)

Публика. Это и всё? Гм...

Процессия: толпа людей, одетых лягушками, несет бумажного быка и две бочки.

Оперетка (*проваливаясь*). Уж сколько на этом самом месте разных разностей проваливалось!

---

<sup>34</sup> Рафаэли-Тamarin – Актер Тamarin исполнял роль мнимого художника Рафаэли.

<sup>35</sup> ради почета (*лат.*)

Лентовский (*хватая проваливающуюся Оперетку за шиворот*). Нет, стой! (*Начинает урезывать ее ножницами.*)<sup>36</sup> Стой, матушка... Мы тебя еще починим... (*Урезав, пристально смотрит.*) Только испортил, чёрт возьми.

О п е р е т к а. Уж чему быть, тому не миновать. (*Проваливается.*)

### Эпилог

Апофеоз. *Лентовский* на коленях. Добрый гений, защищая *Кассу* с ребенком, стоит перед ним в позе проповедника... В перспективе стоят новые оперетки и *Большой Сбор*.

---

<sup>36</sup> *Начинает урезывать ее ножницами.* – 30 сентября пьеса шла уже в постановке Лентовского, с купюрами («Новости дня», 1884, № 270, 1 октября).

## Винт

В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены.

«Неужели они до сих пор с отчетом возьмется? – подумал Пересолин. – Четыре их там дурака, и до сих пор еще не кончили! Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покоя не даю. Пойду подгоню их...» – Остановись, Гурий!

Пересолин вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта, задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настежь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивых монетчиков... Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт; судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное... В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звиздулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина.

– Как же ты это ходишь, чёрт голландский, – рассердился Звиздулин, с остервенением глядя на своего партнера *vis-à-vis*. – Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев сам-друг, Шепелев с женой да Степка Ерлаков, а ты ходишь с Кофейкина. Вот мы и без двух! А тебе бы, садовая голова, с Поганкина ходить!

– Ну, и что ж тогда б вышло? – окрысился партнер. – Я пошел бы с Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолин на руках.

«Мою фамилию к чему-то приплели... – пожал плечами Пересолин. – Не понимаю!»

Писулин сдал снова и чиновники продолжали:

– Государственный банк...

– Два – казенная палата...

– Без козыря...

– Ты без козыря?? Гм!.. Губернское правленьё – два... Погибать – так погибать, шут возьми! Тот раз на народном просвещении без одной остался, сейчас на губернском правлении нарвусь. Плевать!

– Маленький шлем на народном просвещении!

«Не понимаю!» – прошептал Пересолин.

– Хожу со статского... Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского.

– Зачем нам титуляшку? Мы и Пересолиным хватим...

– А мы твоего Пересолина по зубам... по зубам... У нас Рыбников есть. Быть вам без трех! Показывайте Пересолиху! Нечего вам ее, каналью, за обшлаг прятать!

«Мою жену затрогали... – подумал Пересолин. – Не понимаю».

И, не желая долее оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам чёрт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал так, как испугал и удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговори он им гробовым голосом: «Идите за мной, аггелы, в месте, уготованное канальям», и дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как поблед-

нели, узнав Пересолина. У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина...

– Хорошо же вы отчет переписываете! – начал Пересолин. – Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться... Что вы сейчас делали?

– Мы только на минутку, ваше —ство... – прошептал Звиздулин. – Карточки рассматривали... Отдыхали...

Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые с картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых...

– Какая чепуха... Как же вы это играете?

– Это не мы, ваше —ство, выдумали... Сохрани бог... Это мы только пример взяли...

– Объясни-ка, Звиздулин! Как вы играли? Я всё видел и слышал, как вы меня Рыбниковым били... Ну, чего мнешься? Ведь я тебя не ем? Рассказывай!

Звиздулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять:

– Каждый портрет, ваше —ство, как и каждая карта, свою суть имеет... значение. Как и в колоде, так и здесь 52 карты и четыре масти... Чиновники казенной палаты – черви, губернское правление – трефы, служащие по министерству народного просвещения – бубны, а пиками будет отделение государственного банка. Ну-с... Действительные статские советники у нас тузы, статские советники – короли, супруги особ IV и V класса – дамы, коллежские советники – валеты, надворные советники – десятки, и так далее. Я, например, – вот моя карточка, – тройка, так как, будучи губернский секретарь...

– Ишь ты... Я, стало быть, туз?

– Трефовый-с, а ее превосходительство – дама-с...

– Гм!.. Это оригинально... А ну-ка, давайте сыграем! Посмотрю...

Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась...

Сторож Назар, пришедший в семь часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспомыслии. Пересолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил:

– Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я сам-четверт. У Звиздулина Рыбников с женой, три учителя гимназии да моя жена, у Недоехова банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с Крышкина ходить! Ты не гляди, что они с казенной палаты ходят! Они себе на уме!

– Я, ваше —ство, пошел с титулярного, потому, думал, что у них действительный.

– Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать! Это не игра! Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай!.. Когда Кулакевич пошел с надворного губернского правления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам-третьей с Егор Егорычем... Ты всё испортил! Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один робер сыграем!

И, уславши удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру.

## Затмение луны

*(Из провинциальной жизни)*

№ 1032

*Циркулярно.*

22 сентября в 10 часов вечера имеет быть затмение планеты луны. Так как подобное явление природы не только не предосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законам природы часто повинуются, то в видах поощрения предлагаю вам, ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерняя темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать оное затмение, а также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по сему поводу сборищ, радостных криков и прочее. О лицах, превратно истолковывающих оное явление природы, если таковые окажутся (на что я, впрочем, зная здравомыслие обывателей, не надеюсь), прошу доносить мне.

*Гнилодушин.*

Верно: Секретарь *Трясунов.*

В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется, а посему затмение планеты луны произошло при полной темноте воздуха, но, несмотря на это, многими было видимо в надлежащей отчетливости. Нарушений общественной тишины и спокойствия, равно как превратных толкований и выражений неудовольствия, не было за исключением того случая, когда домашний учитель, сын дьякона Амфилохий Бабельмандебский, на вопрос одного обывателя, в чем заключается причина сего потемнения планеты луны, начал внушать длинное толкование, явно клонящееся к разрушению понятий здравого смысла. В чем же заключалось его толкование, я не понял, так как он, объясняя по предметам науки, употреблял в своих словах много иностранных выражений.

*Укуси-Каланчевский.*

В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь донести, что во вверенном мне участке затмения луны не было, хотя, впрочем, на небе и происходило некоторое явление природы, заключавшееся в потемнении лунного света, но было ли это затмение, доподлинно сказать не могу. Уличных фонарей по тщательном розыске оказалось в моем участке только три, кои после омытия стекол и очищения внутренностей были зажжены, но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари вследствие дутя ветра и проникновения в разбитые стекла потухли и, следовательно, не могли прояснять означенной в отношении вашего высокоблагородия темноты. Сборищ не было, так как все обыватели спали за исключением одного только писца земской управы Ивана Авелева, который сидел на заборе и, глядя в кулак на потемнение, двухсмысленно улыбался и говорил: «По мне хоть бы и вовсе луны не было... Наплевать!» Когда же я ему заметил, что сии слова легкомысленны, он дерзко заявил: «А ты, мымра, чего за луну заступаешься? Нешто и ее ходил с праздником поздравлять?» Причем присовокупил безнравственное выражение в смысле простонародного ругательства, о чем и имею честь донести.

*Глоталов.*

С подлинным верно: *Человек без селезенки.*

## На кладбище

*«Где теперь его кляузы,<sup>37</sup>  
ябедничество, крючки, взятки?»*

*Гамлет.*

– Господа, ветер поднялся, и уже начинает темнеть. Не обратиться ли нам подобру-поздорову?

Ветер прогулялся по желтой листве старых берез, и с листьев посыпался на нас град крупных капель. Один из наших поскользнулся на глинистой почве и, чтобы не упасть, ухватился за большой серый крест.

– «Титулярный советник и кавалер Егор Грязноруков...» – прочел он. – Я знал этого господина... Любил жену, носил Станислава, ничего не читал... Желудок его варил исправно... Чем не жизнь? Не нужно бы, кажется, и умирать, но – увы! – случай стерег его... Бедняга пал жертвою своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получил такой удар двери в голову, что схватил сотрясение мозга (у него был мозг) и умер. А вот под этим памятником лежит человек, с пеленок ненавидевший стихи, эпиграммы... Словно в насмешку, весь его памятник испещрен стихами... Кто-то идет!

С нами поравнялся человек в поношенном пальто и с бритой, синевато-багровой физиономией. Под мышкой у него был полуштоф, из кармана торчал сверток с колбасой.

– Где здесь могила актера Мушкина? – спросил он нас хриплым голосом.

Мы повели его к могиле актера Мушкина, умершего года два назад.

– Чиновник будете? – спросили мы у него.

– Нет-с, актер... Нынче актера трудно отличить от консисторского чиновника. Вы это верно заметили... Характерно, хотя для чиновника и не совсем лестно-с.

Насилу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевелом и утерьяла образ могилы... Маленький дешевый крестик, похилившийся и поросший зеленым, почерневшим от холода мохом, смотрел старчески уныло и словно хворал.

– «забвенному другу Мушкину»... – прочли мы.

Время стерло частицу *не* и исправило человеческую ложь.

– Актеры и газетчики собрали ему на памятник и... пропили, голубчики... – вздохнул актер, кладя земной поклон и касаясь коленами и шапкой мокрой земли.

– То есть как же пропили?

– Очень просто. Собрали деньги, напечатали об этом в газетах и пропили... Это я не для осуждения говорю, а так... На здоровье, ангелы! Вам на здоровье, а ему память вечная.

– От пропивки плохое здоровье, а память вечная – одна грусть. Дай бог временную память, а насчет вечной – что уж!

---

<sup>37</sup> «Где теперь его кляузы...» – Слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (акт V, сцена 1), в переводе А. Кронеберга (Харьков, 1844, стр. 188). Чехов не случайно отдал предпочтение самому точному из существовавших в то время переводов «Гамлета». Вольное обращение с текстом шекспировской трагедии вызвало за два года до этого критическое замечание Чехова в его рецензии «Гамлет на Пушкинской сцене»: «Для чего выпускали из текста то, чего нельзя выпускать?» («Москва», 1882, № 3, ценз. разр. 19 января). Сценическая редакция «Гамлета» в первой половине 1880-х годов представляла собой контаминацию разных переводов (см. «Шекспир и русская культура». Под ред. акад. М. П. Алексеева. М. – Л., изд-во «Наука», 1966, стр. 613 и 644). В частности, 11 января 1882 г. «Гамлет» шел «по трем переводам: Полевого, Кронеберга и Загуляева» (см. указанную выше рецензию А. М. Дмитриева).

– Это вы верно-с. Известный ведь был Мушкин, венков за гробом штук десять несли, а уж забыли! Кому люб он был, те его забыли, а кому зло сделал, те помнят. Я, например, его во веки веков не забуду, потому, кроме зла, ничего от него не видел. Не люблю покойника.

– Какое же он вам зло сделал?

– Зло великое, – вздохнул актер, и по лицу его разлилось выражение горькой обиды. – Злодей он был для меня и разбойник, царство ему небесное. На него гляючи и его слушаючи, я в актеры поступил. Выманил он меня своим искусством из дома родительского, прельстил суетой артистической, много обещал, а дал слезы и горе... Горька доля актерская! Потерял я и молодость, и трезвость, и образ божий... За душой ни гроша, каблук кривые, на штанах бахрома и шахматы, лик словно собаками изгрызен... В голове свободомыслие и неразумие... Отнял он у меня и веру, злодей мой! Добро бы талант был, а то так, ни за грош пропал... Холодно, господа почтенные... Не желаете ли? На всех хватит... Бррр... Выпьем за упокой! Хоть и не люблю его, хоть и мертвый он, а один он у меня на свете, один, как перст. В последний раз с ним вижусь... Доктора сказали, что скоро от пьянства помру, так вот пришел проститься. Врагов прощать надо.

Мы оставили актера беседовать с мертвым Мушкиным и пошли далее. Заморосил мелкий холодный дождь.

При повороте на главную аллею, усыпанную щебнем, мы встретили похоронную процессию. Четыре носильщика в белых коленкоровых поясах и в грязных сапогах, облепленных листвой, несли коричневый гроб. Становилось темно, и они спешили, спотыкаясь и покачивая носилками...

– Гуляем мы здесь только два часа, а при нас уже третьего несут... По домам, господа?

## Гусиный разговор

В синеве небесной, совершая свой обычный перелет, длинной вереницей летели дикие гуси. Впереди летели старики, гусиные действительные статские советники, позади – их семейства, штаб и канцелярия. Старики, крихтя, решали текущие вопросы, гусыни говорили о модах, молодые же гусаки, летевшие позади, рассказывали друг другу сальные анекдоты и роптали. Молодым казалось, что старики летят вперед не так быстро, как того требуют законы природы...

– Так нельзя лететь! – говорили они, когда истощался запас сальных анекдотов. – Это чёрт знает на что похоже! Летим, летим и еще до Черного моря не долетели! Эй, вы, ваше —ство! Будете вы по-божески лететь или нет?

Рассудительные же старики рассуждали иначе:

– И не понимаю, зачем только мы летим, Гусь Гусич! – говорил один старичок другому, записывавшему фамилии роптавших. – Летим на Запад, в неведомую бездну, в страну опереток! Согласен, оперетка хорошая вещь, даже необходимая, но поймите же, что мы для нее еще не созрели! Для нас с вами куплет «Все мы невинны от рожденья»<sup>38</sup>, пожалуй, еще ничего, для ума же незрелого он гибель.

– Душевно рад, ваше —ство, что нахожу в вас соучастника в своей скорби. Природа заставляет нас лететь, здравый же смысл вопрошает: ну, к чему мы летим? Сидеть бы нам зиму здесь, где и места много, и яства изобильны, и гусиная нравственность самобытна. Взгляните вы на этих свойских гусей! Сколь завидна их доля! Живут оседло... Тут у них и даровой корм, и вода, и навоз, в недрах коего заключается много богатств, и многоженство, освященное веками... И сколькими важными поступками летописи их украшены! Не спаси они Рима, этого расадника римских тлетворных идей, они не знали бы себе в истории соперников! Взгляните, какие они сытые, довольные, как нравственны их жены!

– Но, ваше —ство, – вмешался один гусак из породы молодых да ранних, – за это видимое довольство с них берут слишком дорого. Они платят своею независимостью. Из них, ваше —ство, готовят «гуся с капустой», гусиное сало и гусиные перья!

– Вот если бы у тебя в голове было поменьше таких идей, – огрызнулся старик, – то ты не говорил бы так со старшими! Как твоя фамилия?

И так далее. До места своего назначения гуси летели благополучно. Особенного ничего не произошло. Раз только старики, увидев на земле молоденькую свойскую гусыню, моргнули глазами, прицелкнули языками и, забрав фуражные деньги, спустились вниз, но и то ненадолго. Гусыня деньги взяла, но чувства стариков отвергла, сославшись на свою невинность.

---

<sup>38</sup> «Все мы невинны от рожденья»... – Куплет 2 из арии Елены в оперетте Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» (д. II). «Прекрасная Елена» была поставлена в России впервые в сезон 1866/67 г. труппой французского театра и приобрела широкую популярность. Между 21 и 24 августа 1883 г. Чехов писал Лейкину: «Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя не литературная работа, хлопающая немилосердно по совести, в соседней комнате кричит детиньш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела“... Кто-то завел шкатулку, и я слышу „Елену Прекрасную“...».

## Язык до Киева доведет

*Куда, милай, скрылся?  
Где тибя сыскать?*

### *Нар. песня*

1-й. – Снять шапку! Здесь не приказано!

2-й. – У меня не шапка, а цилиндр!

1-й. – Это всё равно-с!

2-й. – Нет, не всё равно-с... Шапку и за полтинник купишь, а поди-ка цилиндр купи!

1-й. – Шапку или шляпу... вообще...

2-й (*снимая шляпу*). – Так вы выражайтесь ясней... (*Дразнит.*) Шапку, шапку...

1-й. – Прошу не разговаривать! Вы мешаете прочим слушать!

2-й. – Это вы разговариваете и мешаете, а не я. Я молчу, брат... И вовсе молчал бы, ежели бы б меня б не трогали б.

1-й. – Тссс...

2-й. – Нечего тсыкать... (*Помолчав.*) Я и сам умею тсыкать... А глаза нечего на меня пялить... Не боюсь... Не таких видывал...

*Жена 2-го.* – Да перестань! Будет тебе!

2-й. – Чего ж он ко мне пристал? Ведь я его не трогал? Ведь нет? Так чего же он ко мне лезет? Или, может быть, вы хотите, чтоб я на вас господину приставу пожалился?

1-й. – После, после... Замолчите...

2-й. – Ага, испужался! То-то... Молодец, как это говорится, против овец, а против молодца сам овца.

*В публике.* – Тссс...

2-й. – Даже публика заметила... Для порядку поставлен, а сам беспорядки делает... (*Саркастически улыбается.*) Еще тоже медали на грудях... сабля... Народ, посмотришь!

(*1-й уходит на минутку.*)

2-й. – Стыдно стало, ушел... Стало быть, совесть еще не совсем потеряна, если слов стыдится... Поговори он еще, так я бы ему еще и не то сказал. Знаю, как с ихним братом обращаться!

*Жена 2-го.* – Молчи, публика глядит!

2-й. – Пушай глядит... Свои деньги заплатил, а не чужие... А ежели разговариваю, так не выводил из терпения... Ушел тот... энтот самый, ну и молчу теперь... Ежели меня никто не трогает, так зачем я стану разговаривать? Разговаривать незачем... Я понимаю... (*Аплодирует.*) Бис! Бис!

1, 3, 4, 5 и 6-й (*словно вырастая из земли*). – Пожалуйте! Идите-с!

2-й. – Куда это? (*Бледнея.*) За какое самое?

1, 3, 4, 5 и 6-й. – Пожалуйте-с! (*Берут под руки 2-го.*) Не болтайте ногами... Пожалуйте-с! (*Влекут.*)

2-й. – Свои деньги заплативши и вдруг... это самое... (*Увлекается.*)

*В публике.* – Жулика вывели!

## И прекрасное должно иметь пределы

В записной книжке одного мыслящего коллежского регистратора, умершего в прошлом году от испуга, было найдено следующее:

Порядок вещей требует, чтобы не только злое, но даже и прекрасное имело пределы. Поясню примерами:

Даже самая прекрасная пища, принятая через меру, производит в желудке боль, икоту и чревоущание.

Лучшим украшением человеческой головы служат волосы. Но кто не знает, что сии самые волосы, будучи длинны (не говорю о женщинах), служат признаком, по коему узнаются умы легкомысленные и вредоносные?

Один чиновник, сын благочестивых и добронравных родителей, считал за большое удовольствие снимать перед старшими шапку. Это прекрасное качество его души особенно бросалось в глаза, когда он нарочно ходил по городу и искал встречи со старшими только для той цели, чтобы лишний раз снять перед ними шапку и тем воздать должное. Натура его была до того почтительная и уважительная, что он снимал шапку не только перед своим непосредственным и косвенным начальством, но даже и перед старшими возрастом. Следствием такого благородства души его было то, что ему каждую секунду приходилось обнажать свою голову. Однажды, встретясь в одно зимнее, холодное утро с племянником частного пристава, он снял шапку, застудил голову и умер без покаяния. Из этого явствует, что быть почтительным необходимо, но в пределах умеренности.

Не могу также умолчать и про науку. Наука имеет многие прекрасные и полезные качества, но вспомните, сколько зла приносит она, ежели предающийся ей человек переходит границы, установленные нравственностью, законами природы и прочим? Горе тому, который... Но умолчу лучше...

Фельдшер Егор Никитыч, лечивший мою тетеньку, любил во всем точность, аккуратность и правильность – качества, достойные души возвышенной. На всякое действие и на всякий шаг у него были нарочитые правила, опытом установленные, а в исполнении сих правил он отличался примерным постоянством. Однажды, придя к нему в пять часов утра, я разбудил его и, имея на лице написанную скорбь, воскликнул:

– Егор Никитыч, поспешите к нам! Тетенька истекает кровью!

Егор Никитыч встал, надел сапоги и пошел в кухню умываться. Умывшись с мылом и почистивши зубы, он причесался перед зеркалом и начал надевать брюки, предварительно почистив их и разгладив руками. Затем он почистил щеткой сюртук и жилетку, завел часы и аккуратно прибрал свою постель. Покончив с постелью, он, как бы давая мне урок аккуратности, стал пришивать к пальто сорвавшуюся пуговку.

– Кровью истекает! – повторил я, изнемогая от понятного нетерпения.

– Сию минуту-с... Только вот богу помолюсь.

Егор Никитыч стал перед образами и начал молиться.

– Я готов... Только вот пойду на улицу, погляжу, какие надевать калоши – глубокие или мелкие?

Когда, наконец, мы вышли из его дома, он запер свою дверь, помолился набожно на восток и всю дорогу, идя тихо по тротуару, старался ступать на гладкие камни, боясь испортить обувь. Придя к нам, мы тетюшку в живых уже не застали. Стало быть, и пунктуальность должна иметь пределы.

Писание, по-видимому, занятие прекрасное. Оно обогащает ум, набивает руку и облагораживает сердце. Но много писать не годится. И литература должна иметь предел, ибо многое писание может произвести соблазн. Я, например, пишу эти строки, а дворник Евсей подхо-

дит к моему окну и подозрительно посматривает на мое писание. В его душу я заронил сомнение. Спешу потушить лампу.

## Маска

В Х—ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышни, бал-парей<sup>39</sup>.

Было 12 часов ночи. Не танцующие интеллигенты без масок – их было пять душ – сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, – «мыслили».

Из общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.

– Здесь, кажется, удобнее будет! – вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. – Валяйте сюда! Сюда, ребята!

Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутылка с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.

– Сюда! Здесь и прохладнее будет, – сказал мужчина. – Становь поднос на стол... Садитесь, мамзели! Же ву при а ля тримонтран!<sup>40</sup> А вы, господа, подвиньтесь... нечего тут!

Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов.

– Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь; некогда тут с газетами да с политикой... Бросайте!

– Я просил бы вас потише, – сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. – Здесь читальня, а не буфет... Здесь не место пить.

– Почему не место? Нешто стол качается или потолок обвалиться может? Чудно?! Но... некогда разговаривать! Бросайте газеты... Почитали малость и будет с вас; и так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главнее всего – я не желаю и всё тут.

Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.

– И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков, – начал мужчина с павлиньими перьями, наливая себе ликеру. – А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха!.. Читают! Ну, а о чем там написано? Господин в очках! Про какие факты вы читаете? Ха-ха! Ну, да брось! Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше!

Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те – на него.

– Вы забываетесь, милостивый государь! – вспыхнул он. – Вы обращаете читальню в кабак, вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!..

– А плевать мне, что ты – Жестяков! А газете твоей вот какая честь...

Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.

– Господа, что же это такое? – пробормотал Жестяков, обомлев. – Это странно, это... это даже сверхъестественно...

<sup>39</sup> парадный бал (*франц.* bal parè)

<sup>40</sup> *Же ву при а ля тримонтран!* – Последнее слово в этой реплике – имитация французского – часто употребляется в письмах Ал. П. Чехова к брату. 24 сентября 1882 г. он писал: «...мог бы сострить на этот раз что-либо более юридическое и алятримантранистое...»; 10 марта 1885 г.: «Савельеву и Орлову – мое алятримантран» (Письма Ал. Чехова, стр. 78, 111). «Алятримантраном» Ал. П. Чехов также неоднократно называл П. Е. Чехова (там же, стр. 275, 282).

– Они рассердившись, – засмеялся мужчина. – Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные! Шутки в сторону, разговаривать с вами мне не охотно... Потому, как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не претикословить и выйти... Пожалуйста-с! Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим! Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стало быть, и выходи! Живо у меня, а то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело!

– То есть как же это? – спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. – Я даже не понимаю... Какой-то нахал врывается сюда и... вдруг этикие вещи!

– Какое это такое слово нахал? – крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу, так что на подносе запрыгали стаканы. – Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай подобру-поздорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось! Айда, к свиньям собачьим!

– А вот мы сейчас увидим! – сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. – Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!

Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев.

– Прошу вас выйти! – начал он. – Здесь не место пить! Пожалуйста в буфет!

– Ты откуда это выскочил? – спросил мужчина в маске. – Нешто я тебя звал?

– Прошу не тыкать, а извольте выйти!

– Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку... Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не ндравится, ежели здесь есть кто посторонний... Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде.

– Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! – крикнул Жестяков. – Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!

– Евстрат Спиридоныч! – понеслось по клубу. – Где Евстрат Спиридоныч?

Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.

– Прошу вас выйти отсюда! – прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабранными усами.

– А ведь испугал! – проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. – Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы, как у кота, глаза вытарашил... Хе-хе-хе!

– Прошу не рассуждать! – крикнул изо всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал. – Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!

В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы к читальне.

Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.

– Пиши, пиши, – говорила маска, тыча пальцем ему под перо. – Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну что ж? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз... два... три!..

Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление, действительно, произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крикнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.

В буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, – любовью к просвещению.

– Что ж, уйдете или нет? – спросил Пятигорov после минутного молчания.

Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигорov запер за ними двери.

– Ты же ведь знал, что это Пятигорov! – хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, трясая за плечо лакея, вносившего в читальню вино. – Отчего ты молчал?

– Не велели сказывать-с!

– Не велели сказывать... Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать». Вон!!.. А вы-то хороши, господа, – обратился он к интеллигентам. – Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа... Не люблю, ей-богу!

Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе... Жены и дочери их, узнав, что Пятигорov «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились.

В два часа из читальни вышел Пятигорov; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел.

– Не играйте! – замахали старшины музыкантам. – Тсс!.. Егор Нилыч спит...

– Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? – спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера.

Пятигорov сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.

– Не прикажете ли вас домой проводить, – повторил Белебухин, – или сказать, чтоб экипаж подали?

– А? Ково? Ты... чево тебе?

– Проводить домой-с... Баиньки пора...

– До-домой желаю... Прроводи!

Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу.

– Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант, – весело говорил Жестяков, подсаживая его. – Я буквально поражен, Егор Нилыч! До сих пор хохочу... Ха-ха... А мы-то кипятимся, хлопочем! Ха-ха! Верите? и в театрах никогда так не смеялся... Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!

Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.

– Мне руку подал на прощанье, – проговорил Жестяков, очень довольный. – Значит, ничего, не сердится...

– Дай-то бог! – вздохнул Евстрат Спиридоныч. – Негодяй, подлый человек, но ведь – благодетель!.. Нельзя!..

## В приюте для неизлечимо больных и престарелых

Каждую субботу вечером гимназистка Саша Енякина, маленькая золотушная девочка в порванных башмаках, ходит со своей мамой в «N—ский приют для неизлечимо больных и престарелых». Там живет ее родной дедушка Парфений Саввич, отставной гвардии поручик. В дедушкиной комнате душно и пахнет деревянным маслом. На стенах висят нехорошие картины: вырезанная из «Нивы» купальщица, нимфы, греющиеся на солнце, мужчина с цилиндром на затылке, глядящий в щелку на нагую женщину, и проч. В углах паутина, на столе крошки и рыба чешуя... Да и сам дедушка непривлекателен на вид. Он стар, горбат и неаккуратно нюхает табак. Глаза его слезятся, беззубый рот вечно открыт. Когда входит Саша с матерью, дедушка улыбается, и эта его улыбка бывает похожа на большую морщину.

— Ну, что? — спрашивает дедушка подходящую к ручке Сашу. — Что твой отец?

Саша не отвечает. Мама начинает молча плакать.

— Всё еще по трактирам на фортепьянах играет? Так, так... Всё это от непослушания, от гордыни... На твоей вот этой матери женился и... дурак вышел... Да... Дворянин, сын благородного отца, а женился на «тьфу», на ней вот... на актрисе, Сережкиной дочке... Сережка у меня в кларнетистах был и конюшни чистил... Реви, реви, матушка! Я правду говорю... Хамка была, хамка и есть!..

Саша, глядя на мать, Сережкину дочь и актрису, тоже начинает плакать. Наступает тяжелая, жуткая пауза... Старичок с деревянной ногой вносит маленький самоварчик из красной меди. Парфений Саввич сыплет в чайник щепотку какого-то странного, очень крупного и очень серого чаю и заваривает.

— Пейте! — говорит он, наливая три большие чашки. — Пей, актриса!

Гости берут в руки чашки... Чай скверный, отдает плесенью, а не пить нельзя: дедушка обидится... После чая Парфений Саввич сажает к себе на колени внучку и, глядя на нее с слезливым умилением, начинает ласкать...

— Ты, внучка, знатной фамилии... Не забывай... Кровь наша не актерская какая-нибудь... Ты не гляди, что я в убожестве, а отец твой по трактирам на фортепьянах трамблянит. Отец твой по дикости, по гордыне, а я по бедности, но мы важные... Спроси-кася, кем я был! Удивишься!

И дедушка, глядя костлявой рукой Сашину головку, рассказывает:

— У нас во всей губернии было только три великих человека: граф Егор Григорыч, губернатор и я. Мы были наипервейшие и наиглавнейшие... Богат я, внучка, не был... Всего-навсего было у меня паршивой землицы десятин тысяч пять да смертных душ шестьсот — и больше ни шута. Не имел я ни связей с полководцами, ни родни знатной. Не был я ни писателем, ни Рафаэлем каким-нибудь, ни философом... Человек как человек, одним словом... А между тем — слушай, внучка! — ни перед кем шапки не ломал, губернатора Васей звал, преосвященному руку пожимал и графу Егору Григорычу наипервейший друг был. А всё потому, что жить умел в просвещении, в европейском образе мыслей...

После длинного предисловия дедушка рассказывает о своем прошлом житье-бытье... Говорит он долго, с увлечением.

— Баб обыкновенно на горох на колени ставил, чтоб морщились, — бормочет он между прочим. — Баба морщится, а мужику смешно... Мужики смеются, ну, и сам засмеешься, и весело тебе станет... Для грамотных у меня было другое наказание, помягче. Или выучить наизусть счетную книгу заставлю, или же прикажу взлезть на крышу и читать отсюда вслух «Юрия Милославского», да читать так, чтоб мне в комнатах слышно было... Коли духовное не действовало, действовало телесное...

Рассказав о дисциплине, без которой, по его словам, «человек подобен теории без практики», он замечает, что наказанию нужно противопоставлять награждения,

– За очень отважные поступки, как, например, за поимку вора, жаловал я хорошо: стариков на молоденьких женил, молодых от рекрутчины освобождал и проч.

Веселился во время оно дедушка так, как «теперь никто не веселится».

– Музыкантов и певчих было у меня, несмотря на скудость средств моих, шестьдесят человек. Музыкаю заведовал у меня жид, а певческой – дьякон-расстрига... Жид был большой музыкант... Чёрт так не сыграет, как он, проклятый, играл. На контрабасе, бывало, выводил, шельма, такие экивоки, каких Рубинштейн или Бетховен, положим, и на скрипке не выведет... Учился нотам он за границей, жарил на всех инструментах и рукой махать был мастер. Только один недостаток был в нем: тухлой рыбой вонял да своим безобразием декорацию портил. Во время праздников приходилось его по этой причине за ширмочку ставить... Расстрига тоже не дурак был. И ноты знал и повелевать умел. Дисциплина у него была на такой точке, что даже я удивлялся. Он всего достигал. Бас у него иной раз дишкантом пел, баба в толстоголосии с басами равнялась... Мастер был, разбойник... Видом был важный, сановитый... Пьянствовал только сильно, но ведь это, внучка, кому как... Кому вредно, а кому и пользительно. Певчому надо пить, потому – от водки голос гуще становится... Жиду я платил в год сто рублей ассигнациями, а расстриге ничего не платил... Жил он у меня на одних только харчах и жалованье натурой получал: крупой, мясом, солью, девочками, дровами и проч. Жилось ему у меня, как коту, хоть и частенько порол я его на воздухах... Помню, раз разложил я его и Сережку, ее вот отца, отца твоей матери, и...

Саша вдруг вскакивает и прижимается к матери, которая бледна, как полотно, и слегка дрожит...

– Мама, пойдем домой... Мне страшно!

– Чего тебе, внучка, страшно?

Дедушка подходит к внучке, но та отворачивается от него, дрожит и сильнее жмет к матери.

– У нее, должно быть, головка болит, – говорит извиняющимся голосом мать. – Пора уж ей спать... Прощайте...

Перед уходом Сашина мать подходит к дедушке и, красная, шепчет ему что-то на ухо.

– Не дам! – бормочет дедушка, хмуря брови и шамкая губами. – Ни копейки не дам! Пусть отец достает ей на башмаки в своих трактирах, а я ни копейки... Будет вас баловать! Вам благодетельствуешь, а от вас кроме дерзких писем ничего не видишь. Чай, знаешь, какое письмо прислал мне наемни твой муженек... «Скорей, пишет, по трактирам буду шататься да крохи подбирать, чем перед Плюшкиным унижаться...» А? Это отцу-то родному!

– Но вы его простите, – просит Сашина мать. – Он так несчастлив, так нервен...

Долго просит она. Наконец дедушка гневно плюет, открывает сундучок и, загораживая его всем туловищем, достает оттуда желтую, сильно помятую бумажку... Женщина берет двумя пальцами бумажку и, словно боясь опачкаться, быстро сует ее в карман... Через минуту она и дочка быстро шагают из темных ворот приюта.

– Мама, не води меня к дедушке! – дрожит Саша. – Он страшный.

– Нельзя, Саша... Надо ходить... Если мы не будем ходить, то нам нечего будет есть... Отцу твоему негде достать. Он болен и... пьет.

– Зачем он пьет, мама?

– Несчастный, оттого и пьет... Ты же смотри, Саша, не говори ему, что мы к дедушке ходили... Он рассердится и будет от этого много кашлять... Он гордец и не любит, чтобы мы просили... Не скажешь?

## Вывеска

В Ростове-на-Дону, на Садовой улице, над лавкою одного торговца могильными памятниками висит такая вывеска:

*«П а м я т н ы х д е л м а с т е р».*

Сообщил *Ан. Ч.*

## О драме

### (Сценка)

Два друга, мировой судья Полуехтов и полковник генерального штаба Финтифлеев, сидели за приятельской закуской и рассуждали об искусствах.

– Я читал Тэна, Лессинга...<sup>41</sup> да мало ли чего я читал? – говорил Полуехтов, угощая своего друга кахетинским. – Молодость провел я среди артистов, сам пописывал и многое понимаю... Знаешь? Я не художник, не артист, но у меня есть нюх этот, чутье! Сердце есть! Сразу, брат, разберу, ежели где фальшь или неестественность. Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини!<sup>42</sup> Сразу пойму, ежели что-нибудь этакое... фокус какой-нибудь. Да ты чего же не ешь? Ведь у меня больше ничего не будет!

– Я уже наелся, брат, спасибо... А что драма наша, как ты говоришь, пала, так это верно... Сильно пала!

– Конечно! Да ты посуди, Филя! Нынешний драматург и актер стараются, как бы это попонятнее для тебя выразиться... стараются быть жизненными, реальными... На сцене ты видишь то, что ты видишь в жизни... А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, эффект! Жизнь тебе и так уж надоела, ты к ней пригляделся, привык, тебе нужно такое... этакое, что бы все твои нервы повыдергало, внутренности переверотило! Прежний актер говорил неестественным гробовым голосом, бил себя кулачищем по груди, орал, сквозь землю проваливался, но зато он был экспрессивен! И в словах его была экспрессия! Он говорил о долге, о гуманности, о свободе... В каждом действии ты видел самоотвержение, подвиги человеколюбия, страдания, бешеную страсть! А теперь?! Теперь, видишь ли, нам нужна жизненность... Глядишь на сцену и видишь... пф!.. и видишь поганца какого-нибудь... жулика, червяка в порванных штанах, говорящего ерунду какую-нибудь... Шпажинский или какой-нибудь там Невежин считают этого паршивца<sup>43</sup> героем, а я бы – ей-богу, досадно! – попадись он мне в мою камеру, взял бы его, прохвоста, да, знаешь, по 119 статье<sup>44</sup>, по внутреннему убеждению, месяца этак на три, на четыре!..

Послышался звонок... Полуехтов, вставший было, чтобы нервно зашагать из угла в угол, опять сел... В комнату вошел маленький краснощекий гимназист в шинели и с ранцем на спине... Он робко подошел к столу, шаркнул ножкой и подал Полуехтову письмо.

– Кланялась вам, дяденька, мамаша, – сказал он, – и велела передать вам это письмо.

Полуехтов распечатал конверт, надел очки, громко просопел и принялся за чтение.

<sup>41</sup> Я читал Тэна, Лессинга... – Ипполит Тэн (1828—1893) – французский историк, литературовед и искусствовед. Готхольд Эфраим Лессинг (1729—1781) – немецкий писатель, литературный критик, автор трудов в области теории и истории искусств.

<sup>42</sup> Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини! – Сара Бернар (1844—1923) – французская актриса. В конце 1881 г. и начале 1882 г. гастролировала в России. Чехов писал о ней в фельетонах «Сара Бернар» и «Опять о Саре Бернар» (т. XVI Сочинений). Томмазо Сальвини (1829—1915) – итальянский актер. В 1880 и 1882 гг. приезжал в Россию.

<sup>43</sup> ...Шпажинский или какой-нибудь там Невежин считают этого паршивца героем... – И. В. Шпажинский (1844—1907) и П. М. Невежин (1841—1919) – авторы популярных в 1880-е годы бытовых драм и комедий.

<sup>44</sup> ...по 119 статье... – В статье 119 «Устава уголовного судопроизводства» сказано: «По выслушании сторон и по соображении всех доказательств, имеющих в деле, мировой судья решает вопрос о вине или невинности подсудимого по внутреннему своему убеждению, основанному на совокупности обстоятельств, обнаруженных при судебном разбирательстве...» («Судебные уставы с разъяснением их по позднейшим решениям кассационных департаментов Правительствующего сената и с приложением уложения о наказаниях», 1880, стр. 96). О 119-й статье Чехов писал также ранее в рассказе «Марья Ивановна».

– Сейчас, душенька! – сказал он, прочитав письмо и поднимаясь. – Пойдем... Извини, Филя, я оставлю тебя на секундочку.

Полухтов взял гимназиста за руку и, подбирая полы своего халата, повел его в другую комнату. Через минуту полковник услышал странные звуки. Детский голос начал о чем-то умолять... Мольбы скоро сменились визгом, а за визгом последовал душу раздирающий рев.

– Дяденька, я не буду! – услышал полковник. – Голубчикек, я не буду! А-я-я-я-й! Родненький, не буду!

Странные звуки продолжались минуты две... Засим все смолкло, дверь отворилась и в комнату вошел Полухтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдания, шел гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул ножкой, вытер рукавом глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери...

– Что это у тебя сейчас было? – спросил Финтифлеев.

– Да вот, сестра просила в письме посесть мальчишку... Двойку из греческого получил...

– А ты чем порешь?

– Ремнем... самое лучшее... Ну, так вот... на чем я остановился? Прежде, бывало, сидишь в кресле, глядишь на сцену и чувствуешь! Сердце твое работает, кипит! Ты слышишь гуманные слова, видишь гуманные поступки... видишь, одним словом, прекрасное и... веришь ли?.. я плакал! Бывало, сижу и плачу, как дурак. «Чего ты, Петя, плачешь?» – спрашивает, бывало, жена. А я и сам не знаю, отчего я плачу... На меня, вообще говоря, сцена действует воспитывающе... Да, откровенно говоря, кого не трогает искусство? Кого оно не облагороживает? Кому как не искусству мы обязаны присутствием в нас высоких чувств, каких не знают дикари, не знали наши предки! У меня вот слезы на глазах... Это хорошие слезы, и не стыжусь я их! Выпьем, брат! Да процветают искусства и гуманность!

– Выпьем... Дай бог, чтоб наши дети так умели чувствовать, как мы... чувствуем.

Прятели выпили и заговорили о Шекспире.

## Брак по расчету

(Роман в 2-х частях)

### Часть первая

В доме вдовы Мымриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный ужин. Ужинает 23 человека, из коих восемь ничего не едят, клюют носом и жалуется, что их «мутит». Свечи, лампы и хромая люстра, взятая напрокат из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, телеграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом освещении – ни к селу ни к городу. Этому освещению и вообще электричеству он про- рочит блестящую будущность, но, тем не менее, ужинающие слушают его с некоторым прене- брением.

– Электричество... – бормочет посажёный отец, тупо глядя в свою тарелку. – А по моему взгляду, электрическое освещение одно только жульничество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести! Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что- нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться! Ты давай огня – понимаешь? – огня, который натуральный, а не умственный.

– Ежели бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, – говорит теле- графист, рисуясь, – то вы иначе бы рассуждали.

– И не желаю видеть. Жульничество... Народ простой надувают... Соки последние выжи- мают. Знаем мы их, этих самых... А вы, господин молодой человек, – не имею чести знать вашего имени-отчества, – чем за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другим налили.

– Я с вами, папаша, вполне согласен, – говорит хриплым тенором жених Апломбов, моло- дой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами. – К чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле, но ведь на это есть другое время! Ты какого мнения, машер<sup>45</sup>? – обращается жених к сидящей рядом невесте.

Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной – способ- ности мыслить, вспыхивает и говорит:

– Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном.

– Слава богу, прожили век без образования и вот уж, благодарить бога, третью дочку за хорошего человека выдаем, – говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обра- щаясь к телеграфисту. – А ежели мы, по-вашему, выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным!

Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об элек- тричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный, кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться.

– Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство, – говорит он, – а ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу... Я всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха. В наше время, Татьяна Пет- ровна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за инте- реса, из-за денег...

– Это намек! – говорит жених, багровея и мигая глазами.

---

<sup>45</sup> дорогая (франц. ma chère).

– И никакого тут нет намека, – говорит телеграфист, несколько струсив. – Я не говорю о присутствующих. Это я так... вообще... Помилуйте!.. Все знают, что вы из любви... Приданое пустяшное...

– Нет, не пустяшное! – обижается Дашенькина мать. – Ты говори, сударь, да не заговаривайся! Кроме того, что мы тысячу рублей, мы три салопа даем, постелю и вот эту всю мебель! Поди-кась найди в другом месте такое приданое!

– Я ничего... Мебель, действительно, хорошая... но я в том смысле, что вот они обижаются, будто я намекнул...

– А вы не намекайте, – говорит невестина мать. – Мы вас по вашим родителям почитаем и на свадьбу пригласили, а вы разные слова... А ежели вы знали, что Егор Федорыч из интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы да и сказали по-родственному: так и так, мол, на интерес польстился... А тебе, батюшка, грех! – обращается вдруг невестина мать к жениху, слезливо мигая глазами. – Я ее, может, вскормила, вспоила... берегла пуще алмаза изумрудного, деточку мою, а ты... ты из интереса...

– И вы поверили клевете? – говорит Апломбов, вставая из-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы. – Покорнейше вас благодарю! Мерси за такое мнение! А вы, господин Блинчиков, – обращается он к телеграфисту, – вы хоть и знакомый мне, но я не позволю вам такие безобразия строить в чужом доме! Позвольте вам выйти вон!

– То есть как?

– Позвольте вам выйти вон! Желаю, чтобы и вы были таким честным человеком, как я! Одним словом, позвольте вам выйти вон!

– Да оставь! Будет тебе! – осаживают жениха его приятели. – Ну, стоит ли? Садись! Оставь!

– Нет, я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы! Я по любви вступил в законный брак. Чего же вы сидите, не понимаю! Позвольте вам выйти вон!

– Я ничего... Я ведь... – говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола. – Не понимаю даже... Извольте, я уйду... Только вы отдайте мне сначала три рубля, что вы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и... уйду, только вы сначала долг отдайте.

Жених долго шепчется со своими приятелями. Те по мелочам дают ему три рубля, он с негодованием бросает их телеграфисту, и последний, после долгих поисков своей форменной фуражки, раскланивается и уходит.

Так иногда может кончиться невинный разговор об электричестве! Но вот кончается ужин... Наступает ночь. Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности.

Розоперстая Аврора застаёт еще Гименея в Пятисобачьем переулке, но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для

## **Части второй и последней**

Серое осеннее утро. Еще нет и восьми часов, а в Пятисобачьем переулке необычайное движение. По тротуарам бегают встревоженные городовые и дворники; у ворот толпятся озябшие кухарки с выражением крайнего недоумения на лицах... Во все окна глядят обыватели. Из открытого окна прачечной, нажимая друг друга висками и подбородками, глядят женские головы.

– Не то снег, не то... и не разберешь, что оно такое, – слышатся голоса.

В воздухе от земли до крыш кружится что-то белое, очень похожее на снег. Мостовая бела, уличные фонари, крыши, дворницкие скамьи у ворот, плечи и шапки прохожих – всё бело.

– Что случилось? – спрашивают прачки у бегущих дворников.

Те в ответ машут руками и бегут дальше... Они и сами не знают, в чем дело. Но вот, наконец, медленно проходит один дворник и, беседуя сам с собой, жестикулирует руками. Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает всё.

– Что, родименький, случилось? – спрашивают у него прачки из окна.

– Неудовольствие, – отвечает он. – В доме Мыриной, что вчера была свадьба, жениха обсчитали. Вместо тысячи – девятьсот дали.

– Ну, а он что?

– Осерчал. Я, говорит, того, говорит... Распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно... Ишь, сколько пуху! Снег словно!

– Ведут! Ведут! – слышатся голоса. – Ведут!

От дома вдовы Мыриной движется процессия. Впереди идут два городских с озабоченными лицами... Сзади них шагает Апломбов в триковом пальто и в цилиндре. На лице у него написано: «Я честный человек, но надувать себя не позволю!»

– Ужо правосудие покажет вам, что я за человек! – бормочет он, то и дело оборачиваясь.

За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. Шествие замыкается дворником с книгой и толпой мальчишек.

– О чем плачешь, молодуха? – обращаются прачки к Дашеньке.

– Перины жалко! – отвечает за нее мать. – Три пуда, голубчики! И пух-то ведь какой! Пушинка к пушинке – ни одного перышка! Наказал бог на старости лет!

Процессия поворачивает за угол, и Пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера.

## Господа обыватели

(Пьеса в двух действиях)

### Действие первое

Городская управа. Заседание.

Г о р о д с к о й г о л о в а (*почавкав губами и медленно поковыряв у себя в ухе*). В таком разе не угодно ли вам будет, господа, выслушать мнение брандмейстера Семена Вавилыча, который по этой части специалист? Пускай объяснит, а там мы рассудим!

Б р а н д м е й с т е р. Я так понимаю... (*сморкается в клетчатый платок*). Десять тысяч, ассигнованные на пожарную часть, может быть, и большие деньги, но... (*вытирает лысину*) это одна только видимость. Это не деньги, а мечта, атмосфера. Конечно, и за десять тысяч можно иметь пожарную команду, но какую? Один смех только! Видите ли... Самое важное в жизни человеческой – это каланча, и всякий ученый вам это скажет. Наша же городская каланча, рассуждая категорически, совсем не годится, потому что мала. Дома высокие (*поднимает вверх руку*), они кругом загораживают каланчу, и не только что пожар, но дай бог хоть небо увидеть. Я взываю с пожарных, но разве они виноваты, что им не видно? Потом в отношении лошадином и в рассуждении бочек... (*растегивает жилетку, вздыхает и продолжает речь в том же духе*).

Г л а с н ы е (*единогласно*). Прибавить сверх сметы еще две тысячи!

(*Городской голова делает минутный перерыв для вывода из залы заседания корреспондента.*)

Б р а н д м е й с т е р. Хорошо-с. Теперь, стало быть, вы рассуждаете, чтобы каланча была возвышена на два аршина... Хорошо. Но ежели взглянуть с той точки и в том смысле, что тут заинтересованы общественные, так сказать, государственные интересы, то я должен заметить, господа гласные, что если за это дело возьмется подрядчик, то я должен вам иметь в виду, что это обойдется городу вдвое дороже, так как подрядчик будет соблюдать тут свой интерес, а не общественный. Если же строить хозяйственным способом, не спеша, то ежели кирпич, положим, по пятнадцати рублей за тысячу и доставка на пожарных лошадях и ежели (*поднимает глаза к потолку, как бы мысленно считая*) и ежели пятьдесят двенадцатиаршинных бревен в пять вершков... (*считает*).

Г л а с н ы е (*подавляющим большинством голосов*). Поручить ремонт каланчи Семену Вавилычу, для каковой цели ассигновать на первый раз тысячу пятьсот двадцать три рубля сорок четыре копейки!

Б р а н д м е й с т е р ш а (*сидит среди публики и шепчет соседке*). Не знаю, зачем это мой Сеня берет на себя столько хлопот! С его ли здоровьем заниматься постройками? Тоже, это весело – целый день рабочих по зубам бить! Наживет на ремонте какой-нибудь пустяк, рублей пятьсот, а здоровья себе испортит на тысячу. Губит его, дурака, доброта!

Б р а н д м е й с т е р. Хорошо-с. Теперь будем говорить о служебном персонале. Конечно, я, как лицо, можно сказать, заинтересованное (*конфузится*), могу только заметить, что мне... мне всё равно... Я человек уже не молодой, больной, не сегодня – завтра могу умереть. Доктор сказал, что у меня во внутренностях затвердение и что если я не буду оберегать своего здоровья, то внутри во мне лопнет жила и я помру без покаяния...

Ш ё п о т в п у б л и к е. Собаке собачья и смерть.

Б р а н д м е й с т е р. Но я о себе не хлопочу. Пожил я, и слава богу. Ничего мне не нужно... Только мне удивительно и... и даже обидно... (*машет безнадежно рукой*). Служишь за одно только жалованье, честно, беспорочно... ни днем, ни ночью покою, не щадишь здоровья и... и не знаешь, к чему всё это? Для чего хлопочу? Какой интерес? Я не про себя рассуждаю, а вообще... Другой не станет жить при таком иждивении... Пьяница пойдет на эту должность, а человек дельный, солидный скорей с голоду помрет, чем за такое жалованье станет тут хлопотать с лошадьми да с пожарными... (*пожав плечами*). Какой интерес? Если бы увидели иностранцы, какие у нас порядки, то, я думаю, досталось бы нам на орехи во всех заграничных газетах. В Западной Европе, взять хоть, например, Париж, на каждой улице по каланче, и брандмейстерам ежегодно выдают пособие в размере годового жалованья. Там можно служить!

Г л а с н ы е. Выдать Семену Вавилычу в виде единовременного пособия за долголетнюю службу двести рублей!

Б р а н д м е й с т е р ш а (*шепчет соседке*). Это хорошо, что он выпросил... Умник. Намедни мы были у отца протопопы, проиграли у него в стуюлку сто рублей и теперь, знаете ли, так жалко! (*Зевает.*) Ах, так жалко! Пора бы уж домой идти, чай пить.

## Действие второе

Сцена у каланчи. Стража.

Ч а с о в о й н а к а л а н ч е (*кричит вниз*). Эй! На лесопильном дворе горит! Бей тревогу!

Ч а с о в о й в н и з у. А ты только сейчас увидел? Народ уж полчаса как бежит, а ты, чудак, только сейчас спохватился? (*Глубокомысленно.*) Дурака хоть наверху поставь, хоть внизу – всё равно (*бьет тревогу*).

(*Через три минуты в окне своей квартиры, находящейся против каланчи, показывается брандмейстер в дезабилье и с заспанными глазами.*)

Б р а н д м е й с т е р. Где горит, Денис?

Ч а с о в о й в н и з у (*вытягивается и делает под козырек*). На лесопильном дворе, вашескорodie!

Б р а н д м е й с т е р (*покачивает головой*). Упаси бог! Ветер дует, сушь такая... (*машет рукой*). И не дай бог! Горе да и только с этими несчастьями!.. (*погладив себя по лицу*). Вот что, Денис... Скажи им, братец ты мой, чтоб запрягали и ехали себе, а я сейчас... немного погодя приеду... Одеться надо, то да се...

Ч а с о в о й в н и з у. Да некому ехать, вашескорodie! Все поуходили, один Андрей дома.

Б р а н д м е й с т е р (*испуганно*). Где же они, мерзавцы?

Ч а с о в о й в н и з у. Макар новые подметки ставил, теперь сапоги понес в слободку, к дьякону. Михайлу, ваше высокорodie, вы сами изволили послать овес продавать... Егор на пожарных лошадях повез за реку надзирателю свояченицу, Никита выпивши.

Б р а н д м е й с т е р. А Алексей?

Ч а с о в о й в н и з у. Алексей пошел раков ловить, потому вы изволили ему давеча приказать, говорили, что завтра у вас к обеду гости будут.

Б р а н д м е й с т е р (*презрительно покачав головой*). Изволь вот служить с таким народом! Невежество, необразованность... пьянство... Если бы увидели иностранцы, то досталось бы нам в заграничных журналах! Там, взять хоть Париж, пожарная команда всё время скачет по улице, народ давит; есть пожар или нет, а ты скачи! Тут же горит лесопильный двор, опас-

ность, а их никого дома нет, словно... чёрт их слопал! Нет, далеко еще нам до Европы! (*Поворачивается лицом в комнату, нежно.*) Машенька, приготовь мне мундир!

## Свадьба с генералом

(Рассказ)

Отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял «от клопов, тли (она же моль), тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище».

– Дядюшка! Филипп Ермилыч! – услышал он вдруг, поворачивая в свой переулочек. – А я только что у вас был, целый час стучался! Как хорошо, что мы не разминулись!

Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе «Дрянъ».

– У меня к вам есть просьба, – продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий запах. – Сядемте на скамеечку, дядюшка... Вот так... Ну-с, дело вот в чем... Сегодня венчается мой хороший друг и приятель, некто Любимский... человек, между нами говоря, прелестнейший... Да вы, дядюшка, положите щуку! Что она будет вам шинель пачкать?

– Это ничего... Гадость рыба, грош цена, а между тем икра – удивление! Распороть ей брюхо, выпустить отсюда икру, смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем и – приидите, насладимся!

– Человек прекраснейший... Служит оценщиком в ссудной кассе, но вы не подумайте, что это какой-нибудь замухрышка или валет... В ссудных кассах нынче и благородные дамы служат... Семейство, могу вас уверить... отец, мать и прочие... люди превосходные, радушные такие, религиозные... Одним словом, семья русская, патриархальная, от которой вы будете в восторге... Женится Любимский на сиротке, по любви... Славные люди!.. Так вот не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин?

– Но ведь я тово... незнаком! Как я поеду?

– Это ничего не значит! Не к баронам и не к графам ведь ехать! Люди простые, без всяких этикетов... Русская натура: милости просим, все знакомые и незнакомые! И к тому же... я вам откровенно... семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами... Смешно даже... Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал! Тысячи рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала! Согласен, грошовое тщеславие, предрассудок, но... но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более, что и вам не будет там скучно... Нарочно для вас припасли бутылочку цимлянского и омаров жестяночку... Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания, а там, по крайней мере, всем понятно будет! Да ей-богу!

– Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? – спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. – Я, знаешь, подумаю...

– Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и всё! А что насчет приличия, то даже обидно... Точно я могу родного дядю повести в неприличное место!

– Пожалуй... Как знаешь...

– Так я за вами вечерком заеду... Этак часиков в одиннадцать, попоздней, чтобы как раз на ужин попасть... по-аристократически...

В 11 часов Нюнин заехал за дядюшкой. Ревунов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами, нацепил ордена – и они поехали. Свадебный ужин уже начался, когда

взятый из трактира напрокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, г-жа Любимская, встречая его в передней, шурила на него глаза.

– Генерал? – вздохнула она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто, и кланяясь. – Очень приятно, ваше превосходительство... Но какие неосанистые... завалышенькие... Гм... Никакой строгости в виде и даже еполетов нету... Гм... Ну, всё равно, не ворочаться же, какого бог дал... Так и быть, пожалуйста, ваше превосходительство! Слава богу, хоть орденов много...

Контр-адмирал поднял вверх свежевыбритый подбородок, внушительно кашлянул и вошел в зал... Тут его взорам представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень. Посреди залы стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками... За столом, на самом видном месте, сидел жених Любимский во фраке и белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащие яства, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений. Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола.

– Контр-адмирал Ревунов-Караулов! – крикнул Андрюша.

Гости поглядели исподлобья на вошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись.

– Позвольте представить, ваше превосходительство! Новобрачный Эпаминонд Саввич Любимский с супругою... Иван Иванович Ять, служащий на телеграфе... Иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридоныч Дымба... Федор Яковлевич Наполеонов и... прочие... Садитесь, ваше —ство!

Контр-адмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку.

– Как вы его отрапортовали? – обратилась шёпотом хозяйка к Андрюше, подозрительно и озабоченно поглядывая па сановного гостя. – Я просила генерала, а не этого... как его... котр... конр...

– Контр-адмирала... Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна. Поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по табели о рангах соответствует генерал-майору, постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику... Разница только в ведомствах, суть же – один чёрт... Одна цена.

– Да, да... – подтвердил Наполеонов. – Это верно...

Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цимлянского.

– Кушайте, ваше —ство! Извините только, пожалуйста... У себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто!

– Да-с... – начал контр-адмирал после продолжительного молчания. – В старину люди всегда жили просто и были довольны... Я человек, который в чинах, и то живу просто...

– Вы давно в отставке, ваше —ство?

– С 1865-го года... В старину всё просто было... Но...

Адмирал сказал «но», перевел дух и в это время увидел молодого гардемарина, сидевшего против него.

– Вы тово... во флоте, стадо быть? – спросил он.

– Точно так, ваше —ство!..

– Ага... Так... Чай, теперь всё пошло по-новому, не так, как при нас было... Белотелые всё пошли, пушистые... Впрочем, флотская служба всегда была трудная... Это не то, что пехота какая-нибудь или, положим, кавалерия... В пехоте ничего умственного нет. Там даже и мужику понятно, как и что... А вот у нас с вами, молодой человек, нет-с! Шутишь! У нас с вами есть над чем задуматься... Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное... ээ... недоумение... Например: марсовые к вантам, на фок и грот! Что это значит? Это значит, что которые приставлены для закрепления брамселей, должны непременно находиться в это время на марсах, иначе надо командовать: саленговые к вантам! Тут уж другой

смысл... Хе-хе... Тонкость, что твоя математика! А вот ежели, идучи полным ветром... дай бог память... На брамсели и бом-брамсели! Тут марсовые, которые назначены для отдачи марселей и бом-брамселей, что есть духу бегут с марсов на салинги и бом-салинги, потом... дай бог память... расходятся по реям и раскрепляют означенные паруса, а в это время – понимаете? – в это самое время! – люди, которые внизу, становятся на брам и бом-брам-шкоты, фалы и брасы...

– За здоровье уважаемых гостей! – провозгласил жених.

– Да-с, – перебил контр-адмирал, поднимаясь и чокаясь. – Мало ли разных команд... Да вот хоть бы эту взять... дай бог память... брам и бом-брам-шкоты тянуть, фалы поднимааай!!.. Хорошо-с... Но что это значит и какой здесь смысл? Очень просто! Тянут, знаете ли, брам и бом-брам-шкоты и поднимают фалы... все вдруг! Причем уравнивают бом-брам-шкоты и бом-брам-фалы при подъеме, а в это время, глядя по надобности, потравливают брасы сих парусов, а когда уж, стало быть, шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то брам и бом-брам-брасы вытягиваются и реи брасопяются соответственно направлению ветра...

– Дядюшка! – шепнул Андрюша. – Хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям и... скучно.

– Постой... Я рад, что молодого человека встретил... Молодой человек! Я всегда желал и... желаю... От души желаю! Дай бог... Мне приятно... Да-с... А вот ежели корабль лежит бейдевинд правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? Очень просто... дай бог память... Всех на вееерх, через фордевинд поворачивать! Ведь так? Хе-хе...

– Будет, дядюшка! – шепнул Андрюша.

Но дядюшка не унимался. Он выкрикивал команду за командой и каждый свой хриплый выкрик пояснял длинным комментарием. Приближался уж конец ужина, а между тем по его милости не было сказано еще ни одного длинного тоста, ни одной речи. Иван Иванович Ять, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морщиться и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал поперхнулся цимлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал:

– В сегодняшний, так сказать, день... Гм... в который мы, собравшись для чествования нашего любимого...

– Да-с... – перебил его адмирал. – И ведь всё это надо помнить! Например... дай бог память... бейфуты и топенанты раздернуть, бакштаги с правой за марс!

– Мы люди темные, ваше превосходительство, – сказала хозяйка, – ничего этого самого не понимаем, а вы расскажите нам лучше что-нибудь касающее...

– Вы не понимаете, потому что... термины! Конечно! А молодой человек понимает... Да. Старину с ним вспомнил... А ведь приятно, молодой человек! Плывешь себе по морю, горя не знаючи, и...

Адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом:

– Например... дай бог память... Кливер поднимай, пошел браса, фока и грота-галсы садить!

Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал:

– Тут сейчас поднимают кливер-фалы, брасопят грот-марсель и прочие, что над оным, паруса в бейдевинд, а потом садят до места фока и грота-галсы, тянут шкоты и выбирают булиня... Пла... плачу... Рад...

– Генерал, а безобразите! – вспыхнула хозяйка. – Постыдились бы на старости лет! Мы вам не за то деньги платили, чтоб вы безобразили!

– Какие деньги? – вытаращил глаза контр-адмирал.

– Известно какие... Небось, уж получили через Андрея Ильича четвертную! А вам, Андрей Ильич, грех! Мы вас не просили такого нанимать...

Старик взглянул на вспыхнувшего Андриюшу, на хозяйку – и всё понял. «Предрассудок» патриархальной семьи, о котором говорил ему Андриюша, предстал перед ним во всей его пако-сти... В один миг слетел с него хмель... Он встал из-за стола, засеменял в переднюю и, одевшись, вышел...

Больше уж он никогда не ходил на свадьбы.

## К характеристике народов

### *(Из записок одного наивного члена Русского географического общества)*

*Французы* замечательны своим легкомыслием. Они читают нескромные романы, женятся без позволения родителей, не слушаются дворников, не уважают старших и даже не читают «Московских ведомостей». Они до того безнравственны, что все французские консистории завалены бракоразводными делами. Сара Бернар, например, так часто разводится с мужьями, что один секретарь консистории по ее милости нажил себе два дома. Женщины поступают в опереточные актрисы и гуляют по Невскому, а мужчины пекут французские булки и поют «Марсельезу». Много альфонсов: Альфонс Додэ, Альфонс Ралле<sup>46</sup> и другие...

*Шведы* воевали с Петром Великим и дали нашему соотечественнику Лапшину идею шведских спичек, но не научили его, как делать эти спички легко зажигающимися и годными для употребления. Ездят на шведках, слушают в ресторанах пение шведок и подмазывают колеса норвежским дегтем. Живут в местах отдаленных.

*Греки* занимаются по преимуществу торговлей. Продают губки, золотых рыбок, сантуринское вино и греческое мыло, не имеющие же торговых прав водят обезьян или занимаются преподаванием древних языков. В свободное от занятий время ловят рыбу около одесской и таганрогской таможен. Питаются недоброкачественной пищей, приготовляемой в греческих харчевнях, от нее же и умирают. Между ними попадаются иногда и высокие люди: так, содержатель татарского ресторана в Москве Владос очень высокий и очень толстый человек.

*Испанцы* дни и ночи играют на гитарах, дерутся под окнами на дуэлях и ведут переписку с звенигородским помещиком Константином Шиловским, сочинившим «Тигренка» и «Желаю быть испанцем».<sup>47</sup> На государственную службу не принимаются, так как носят длинные волосы и пледы. Женятся по любви, но тотчас же после свадьбы закалывают своих жен от ревности, несмотря даже на увещания испанских околоточных, которых в Испании уважают. Занимаются приготовлением шпанских мушек.

*Черкесы* все до единого имеют титул «сиятельства». Едят шашлык, пьют кахетинское и дерутся в редакциях. Занимаются выделыванием старинного кавказского оружия, ни о чем никогда не думают и имеют длинные носы для удобнейшего вывода их из публичных мест, где они производят беспорядки.

*Персы* воюют с русскими клопами, блохами и тараканами, для каковой цели готовят персидский порошок. Воюют уже давно, однако же еще не победили и, судя по размерам купеческих перин и щелей в чиновничьих кроватях, победят едва ли скоро. Богатые персы сидят на персидских коврах, а бедные – на колах, причем первые испытывают гораздо большее удовольствие, чем вторые. Носят орден «Льва и Солнца», каковой орден имеют наш Юлий Шрейер, завоевавший себе персидские симпатии, Рыков, оказавший России персидские услуги<sup>48</sup>, и многие московские купцы за неослабную поддержку причин упомянутой войны с насекомыми.

<sup>46</sup> Альфонс Ралле – владелец парфюмерной фабрики в Москве.

<sup>47</sup> ...с звенигородским помещиком Константином Шиловским, сочинившим «Тигренка» и «Желаю быть испанцем». – Два популярных романа К. С. Шиловского; в 1889 г. он поступил на сцену Малого театра под фамилией Лошивский, был разносторонне одаренным дилетантом: певец, гитарист, композитор, рисовальщик, гример. Характеристику этой своеобразной личности оставил Ю. М. Юрьев в своих «Записках» (Л. – М., 1948, стр. 40—41). Роман «Тигренок» упоминается также в рассказе «Дачные правила».

<sup>48</sup> ...орден «Льва и Солнца», каковой орден имеют наш Юлий Шрейер ~ Рыков, оказавший России персидские услуги... –

*Англичане* очень дорого ценят время. «Время – деньги», говорят они, и потому своим портным вместо денег платят временем. Они постоянно заняты: говорят речи на митингах, ездят на кораблях и отравляют китайцев опиумом. У них нет досуга... Им некогда обедать, бывать на балах, ходить на randevу, париться в бане. На randevу вместо себя посылают они комиссионеров, которым дают неограниченные полномочия. Дети, рожденные от комиссионеров, признаются законными. Живет этот деловой народ в английских клубах, на английской набережной и в английском магазине. Питается английской солью и умирает от английской болезни.

---

Ю. О. Шрейер (1835—1887), артиллерист по профессии, по выходе в отставку стал журналистом, получив прозвище «короля репортеров» («Фельетонный словарь современников...» Вл. Михневича. СПб., 1884, стр. 251). Во время франко-прусской войны печатал «корреспонденции с поля боя». Ирония насчет завоевания им «персидских симпатий» связана с тем, что из всех иностранных орденов персидский орден «Льва и Солнца» был наиболее распространен в России, причем часто доставался незаконным путем. В конце ноября 1884 г. Чехов начал публиковать в «Петербургской газете» корреспонденции о процессе И. Г. Рыкова, обанкротившегося директора банка в г. Скопине, – «Дело Рыкова и комп.». По-видимому, на суде высказывались сомнения в законности получения Рыковым персидского ордена, так как Чехов приводит в своей корреспонденции ответ Рыкова свидетелю: «Он оскорбил и министерство иностранных дел! „Льва и Солнце“ я получил от самого шаха за собственной его подписью».

## Задача

Предлагаю на разрешение читателя задачу.

Я, моя жена и теща вышли в 2 часа ночи из дома, где все трое пировали на свадьбе у одного нашего дальнего родственника. На свадьбе мы, конечно, выпили и закусили.

– В моем положении я не могу пешком идти, – заявила жена. – Найми, Кирюша, извозчика.

– Бог знает что ты выдумываешь, Даша! – запротестовала теща. – При нынешней дороговизне, когда на хлеб к чаю нет... дров нету, а ты на извозчика! Не слушай ее, батюшка!

Но я, дорожа здоровьем жены и плода любви своей несчастной (читатель, конечно, уже догадался, что жена моя была в интересном положении) и находясь в том стадии<sup>49</sup> блаженно-смирennemудрого подпития, когда пешее хождение служит прекрасной учебно-вспомогательной прогулкой для уразумения теории Коперника о вращении земли, я не послушался тещи и крикнул извозчика. Извозчик подкатил и... Но тут начинается самая задача.

Размеры извозничьих санок вам известны. Я литератор, из чего явствует, что я тощ и легковесен. Моя жена – тоже тоща, но она все-таки шире меня, ибо ее поперечные размеры волею судеб увеличены. Теща же изображает из себя дистанцию огромного размера; поперечник ее равен длиннику; вес 7 пуд. 24 фунта.

– Втроем мы не усядемся на одного извозчика, – сказал я. – Нужно нанять еще другого.

– Ты, батюшка, с ума сошел, что ли? – зафордыбачилась теща. – За квартиру платить нечем, а ты захотел двух извозчиков! Не позволю! И благословения вам моего не будет! Проклянц!

– Но поймите же, мамаша, – сказал я наивозможно почтительным голосом, – втроем нам усесться никак невозможно. Если вы сядете, то, будучи, благодаря бога, полны, вы займете три четверти сиденья. Я-то, как худенький, пожалуй, еще могу сесть рядом с вами; Дашенька же, по случаю своего положения, рядом с вами усесться не может. Где же ей сесть?

– Как знаете, мучители мои! – замахала руками теща. – А нанимать другого извозчика нет вам моего благословения!

– Хорошо-с... – начал я вслух думать. – Я, как худошавый, сяду с вами, но тогда Дашеньке негде сесть; если же я сяду с Дашей – вам нет места... Хорошо-с... Пойдите... Если, положим, мне с вами сесть, а Дашу посадить к нам на колени, но... это физически невозможно: проклятые санки узки... Ну-с, а если, положим, я сяду с мамашей, а ты, Даша, на козлы рядом с извозчиком... Даша, хочешь рядом с извозчиком?

– Я благородная вдова, – рассердилась теща, – и не позволю, чтоб моя плоть и кровь сидела рядом с мужиком! Да и где это видано, чтоб дамы сидели на козлах?

– В таком случае мы вот как сделаем, – сказала моя находчивая жена. – Мамаша сядет как следует, а я сяду внизу у ее ног, съежусь, скорчусь и буду держаться за пустое местечко, что около нее; ты же, Кирюша, сядешь на козлы... Ты не благородный, тебе можно на козлы...

– Так-то так, – почесал я затылок, – но я выпивши и могу свалиться с козел...

– Нализался! – проворчала теща. – Ну, ежели боишься с козел упасть, так стань на запятки и крепко ручищами за спинку держись... Мы тихо поедем, не упадешь...

Как я ни был пьян, но с презрением отверг этот позорный проект: русский литератор и вдруг – на запятках?! Этого еще не доставало!.. Изнемогая от подпития и головомолки, за решением данной мне задачи, я уже готов был плюнуть и отправиться домой пешком, как вдруг извозчик обернулся к нам и сказал:

<sup>49</sup> ...в том стадии... – Другой случай употребления Чеховым существительного «стадия» в мужском роде – в тексте журнальной публикации рассказа «Регретшм мобиле»: «Ужин вступил в стадий разгара» (см. т. II Сочинений, стр. 453, строка 3).

– Вы этак сделайте...

И предложил нам проект, который и был принят.

В чем заключался этот проект?

Р. S. Единовременное пособие для недогадливых: по проекту извозчика, я сидел рядом с тещей, жена же ко мне была так близко, что могла шепнуть мне на ухо. «Ты, Кирюша, толкаешь меня локтем. Подайся чуточку назад!» Извозчик сидел на своем месте. После этого угадать не трудно.

Р е ш е н и е з а д а ч и

Я сидел рядом с тещей, спиной к извозчику и свесив ноги наружу через спинку санок. Жена стояла в санках на том месте, где должны были бы быть мои ноги, если бы я сидел по-человечески, и держалась за мои плечи.

## Ночь перед судом

(Рассказ подсудимого)

– Быть, барин, беде! – сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебежавшего нам дорогу.

Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в С—ий окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли, – до того я озяб, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня станционный смотритель, высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему нюхать.

А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в станционные «покои» и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного клопа – и я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные некрашенные стены, коптила, как лучина.

– Да и вонь же у вас, синьор! – сказал я, входя и кладя чемодан на стол.

Смотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой.

– Пахнет, как обыкновенно, – сказал он и почесался. – Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут.

Я услышал смотрителя и стал обзирать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит клеенкой и был холоден, как лед. Кроме дивана, в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Снявши сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги... Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть, но тут случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно увал на ширмы и... представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки – стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взор, я смиренхонько направился к дивану, лег и укрылся шубой.

«Какая оказия! – подумал я. – Значит, она видела, как я прыгал! Нехорошо...»

И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнее затеснились в моем воображении и... и, словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело: запахло раздавленным клопом.

– Это чёрт знает что такое! – услышал я в то же время женский голосок. – Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня!

Гм!.. Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не изменил этой привычке. Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от «энциклопедии» и – знакомство готово. Но как предложить?

– Это ужасно!

– Сударыня, – сказал я возможно сладеньким голосом. – Насколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то...

– Ах, пожалуйста!

– В таком случае я сейчас... надену только шубу, – обрадовался я, – и принесу...

– Нет, нет... Вы через ширму подайте, а сюда не ходите!

– Я и сам знаю, что через ширму. Не пугайтесь: не башибузук какой-нибудь...<sup>50</sup>

– А кто вас знает! Народ вы проезжий...

– Гм!.. А хоть бы и за ширму... Тут ничего нет особенного... тем более, что я доктор, – солгал я, – а доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.

– Вы правду говорите, что вы доктор? Seriously?

– Честное слово. Так позвольте принести вам порошок?

– Ну, если вы доктор, то пожалуй... Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам... Федя! – сказала брюнетка, понизив голос. – Федя! Да проснись же, тюлень! Встань и поди за ширму! Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку.

Присутствие за ширмой «Феди» было для меня ошеломляющею новостью. Меня словно обухом ударило... Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делает осечку: и совестно, и досадно, и жалко... На душе у меня стало так скверно и таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал караул. Федя изображал из себя высокого жилистого человека лет пятидесяти, с седыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и с синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях.

– Вы очень любезны, доктор... – сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы. – Мерси... И вас застала пурга?

– Да! – проворчал я, ложась на диван и остервенело натягивая на себя шубу. – Да!

– Так-с... Зиночка, по твоему носику клопик бежит! Позволь мне снять его!

– Можешь, – засмеялась Зиночка. – Не поймал! Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь!

– Зиночка, при постороннем человеке... (вздых). Вечно ты... Ей-богу...

– Свины, спать не дают! – проворчал я, сердясь сам не зная чего.

Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час... и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочались и стали шёпотом браниться.

– Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет! – проворчал Федя. – Так их много, этих клопов! – Доктор! Зиночка просит меня спросить вас: отчего это клопы так мерзко пахнут?

Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии; поговорили об Эдисоне...

– Ты, Зиночка, не стесняйся... Ведь он доктор! – услышал я шёпот после разговора об Эдисоне. – Не церемонься и спроси... Бояться нечего. Шервцов не помог, а этот, может быть, и поможет.

– Спроси сам! – прошептала Зиночка.

– Доктор, – обратился ко мне Федя, – отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли... теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то...

– Это длинный разговор, сразу нельзя сказать... – попытался я увернуться.

<sup>50</sup> ...не башибузук какой-нибудь... – После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. слово «башибузук» (сорвиголова), обозначавшее рядового турецкой иррегулярной пехоты, стало нарицательным именем злодея и насильника.

– Ну, так что ж, что длинный? Время есть... всё одно, не спим... Посмотрите ее, голубчик! Надо вам заметить, лечит ее Шерцев... Человек-то он хороший, но... кто его знает? Не верю я ему! Не верю! Вижу, вам не хочется, но будьте так добры! Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить.

Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок.

– Покажите язык! – начал я, садясь около нее и хмуря брови.

Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.

– Гм!.. – промычал я, не найдя пульса.

Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся личико, помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов.

Наконец, я сидел в компании Феде и Зиначки за самоваром; надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки:

Rp. Sic transit 0,05

Gloria mundi 1,0<sup>51</sup>

Aquae destillatae 0,1

Через два часа по столовой ложке.

Г-же Съеловой.

Д-р Зайцев.

Утром, когда я, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убеждал:

– Нет, вы обязаны взять! Я привык платить за всякий честный труд! Вы учились, работали! Ваши знания достались вам потом и кровью! Я понимаю это!

Нечего было делать, пришлось взять десятирублевку.

Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз; и я прочел себе отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно-важные физиономии присяжных...

Но я не могу описать, а вы представить себе, моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте – кого бы вы думали? – Феде! Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил клопов, Зиначку, свою диагностику, и не мороз, а целый Ледовитый океан пробежал по моей спине... Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла... рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами...

– Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч., – начал председатель.

Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу.

– Ну, быть бане! – подумал я.

По всем признакам, прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал...

<sup>51</sup> *Sic transit 0,05/Gloria mundi 1,0...* – В рецепте разбито на две части латинское изречение: Так проходит слава мирская. По поводу этого шуточного рецепта В. В. Билибин писал Чехову 14 марта 1886 г.: «Василевский в одном из своих провинциальных фельетонов в „Новостях“ <...> украл у Вас рецепт: „Sic transit gloria mundi“ (ГБЛ). Действительно, редактор „Стрекозы“ построил на этом рецепте анекдот в своих „очерках провинциальной жизни“ – „Среди обывателей“ („Новости и биржевая газета“, первое издание, 1886, 3 марта, № 61, подпись: Буква).

Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва... Сейчас будет речь прокурора.

Что-то будет?

## Новейший письмовник

Что такое письмо? Письмо есть один из способов обмена мыслей и чувств; но так как очень часто письма пишутся людьми бессмысленными и бесчувственными, то это определение не совсем точно. Придется остановиться на определении, данном одним образованным почтовым чиновником: «Письмо есть такое имя существительное, без которого почтовые чиновники сидели бы за штатом, а почтовые марки не были бы продаваемы». Письма бывают открытые и закрытые. Последние должны быть распечатываемы со всею осторожностью и по прочтении вновь тщательно запечатываются, дабы адресат не мог впасть в сомнение. Чужие письма читать вообще не рекомендуется, хотя, впрочем, польза ближнего и предполагает это прочтение. Родители, жены и старшие, пекущиеся о нашей нравственности, образе мыслей и чистоте убеждений, должны читать чужие письма. Письма надлежит писать отчетливо и с разумием. Вежливость, почтительность и скромность в выражениях служат украшением всякого письма, в письмах же к старшим надлежит помимо того руководствоваться табелью о рангах, предполагая имени адресата его полный титул, например: «Ваше превосходительство, отец и благодетель, Иван Иванович! Просвещенное внимание Ваше и проч. ...»

Литераторы, артисты и художники чинов и титулов не имеют, а посему письма к этим лицам начинаются с простого: М. г.!

Образцы писем:

*К начальнику.* Ваше превосходительство, милостивый отец и благодетель! Осмеливаюсь почтительнейше донести Вашеству, что помощник бухгалтера Пересекин, будучи вчера на крестинах у Чертоболотова, неоднократно высказывал мысль о необходимости перекраски полов в правлении, покупки нового сукна на столы и проч. Хотя в сей мысли и нет ничего вредоносного, но нельзя не подметить в ней некоторого недовольства существующим порядком. Жаль, что среди нас есть еще люди, которые по легкомыслию не могут оценить благ, получаемых от Вашества! Чего они хотят и что им нужно?! Недоумеваю и скорблю... Вашество! Благодеяния, в коих вы неутомимы, не имеют числа, но довершите, Вашество, благодетелью Вашу и исторгните из среды нашей людей, кои и сами гибнут и других влекут к гибели. Примите, Вашество, и проч. ... Ваш молитвенник Семен Гнуснов.

*Р. S.* Осмелюсь напомнить Вашеству о месте помощника бухгалтера, которое Вы изволили обещать племяннику моему Капитону. Человек хотя необразованный, но почтительный и трезвый.

*К подчиненному.* Третьего дня, подавая мне и жене моей калоши, ты стоял на сквозном ветру и, как говорят, простудился, от каковой причины и не являешься на службу. За такое небрежение к своему здоровью объявляю тебе строгий выговор...

*Любовное письмо.* Милостивая государыня, Марья Еремеевна! Имея крайнюю нужду в деньгах, имею честь предложить Вам руку и сердце. На случай какого-либо сомнения прилагаю при сем полицейское свидетельство о поведении. Любящий М. Тпрунов.

*Дружеское.* Любезный Вася! Не можешь ли ты, голубчик, дать мне взаймы до завтра пять рублей? Твой Ипхондриков. (Отвечать следует так: «Не могу».)

*Деловое.* Ваше сиятельство, княгиня Миликтриса Кирбитьевна! Почтительнейше осмеливаюсь напомнить Вашему сиятельству о карточном должке в размере 1 р. 12 к., кои я имел честь выиграть у Вашего сиятельства третьего года у Белоедова и до сих пор не имел еще чести получить. В ожидании и проч. ... Зеленопупов.

*Вредное и пагубное.* Вашество! Вчера я случайно узнал, что наградами, которые я получил к Новому году, я обязан не моим личным заслугам, а моей жене. Служба моя у вас, конечно,

уже невозможна, и я прошу о переводе. Примите уверение в моем к вам презрении и проч. Такой-то.

*Ругательное.* М. г.! Вы рецензент!

*Письмо к литератору.* М. г.! Хотя я и не знаком с вами, но не могу, из любви к ближнему и искренно сожалея вас (по всей видимости, вы человек способный), не обратиться к вам с добрым советом: бросьте ваше вредное занятие! Один из ваших доброжелателей. (Подписи следует избегать, в видах возможности компрометации.)

## У постели больного

У постели больного стоят доктора Попов и Миллер и спорят:

П о п о в. Я, признаться, плохой приверженец консервативного метода.

М и л л е р. Я, коллега, ничего не говорю вам о консерватизме... Дело ваше верить или не верить, признавать и не признавать... Я говорю о режиме, который следовало бы изменить *in concreto*...<sup>52</sup>

Б о л ь н о й. Ох! (*Встает через силу с постели, идет к двери и робко заглядывает в соседнюю комнату.*) Нынче ведь и стены слышат.

П о п о в. Он жалуется, что у него в груди теснит... жмет... душит... Не обойтись без сильного возбуждающего...

*Больной стонет и робко заглядывает в окно.*

М и л л е р. Но прежде, чем давать возбуждающее, я просил бы вас обратить внимание на его конституцию...

Б о л ь н о й (*побледнев*). Ах, господа, не говорите так громко! Я человек семейный... служащий... Под окнами люди ходят... у меня прислуга... Ах! (*Безнадежно машет рукой.*)

---

<sup>52</sup> в действительности (*лат.*)

## Картинки из недавнего прошлого

В правлении общественного банка, в кабинете директора за приличной закуской сидят сам директор Рыков и господин с седыми бакенами, Анной на шее и с сильным запахом флерд'оранжа. На бритой физиономии последнего плавает снисходительная улыбка, в движениях мягкость...

– Да, – говорит господин, сбрасывая пепел с сигары. – Такие-то дела! Тут роды у жены, потом поездка в Ниццу, там свадьба сестры... по горло! Насилу к вам собрался. Собирался, собирался и наконец таки я у вас, душа моя... Ну? Как живут мои векселя? Чай, скучают? Хе-хе... Срок им был в августе, а теперь уже декабрь. Как вам нравится подобная аккуратность? Хе-хе... Кому-кому, а уж служащему по финансам следовало бы быть аккуратнее... Pardon, извиняюсь!

– Что вы... помилуйте-с! Мы и забыли-с!... Хе-хе...

– Там по векселям моим приходится, кажется, тысяч триста да процентов... если не вру, тысяч двадцать с хвостом. Так? Векселя, конечно, мы перепишем, душа моя Иван Гаврилыч, а вот как быть с процентами – ей-богу, не знаю... Сейчас уплатить их вам я не могу, так их оставить тоже неудобно. Вы, голубчик, бухгалтерию знаете лучше меня и знаете все эти тонкости... Как быть?

– Очень просто-с! Векселя мы заменим новыми, а проценты, ваше —ство, припишем к капитальному долгу...

– Вы велики, моншер! Ну-с, теперь вторая просьба... Жена моя купила себе маленькую дачу... этакую ферму, знаете ли... с рассрочкой на три года. Завтра, душа моя, представьте, срок платежа. До зарезу нужно сорок четыре тысячи! Я знаю, вы мне не откажете, дорогой мой, но вот одно только неудобство... здесь в Скопине, кроме вас, никого нет у меня знакомого! Кто надпишет мне бланк?

– Это не суть важно, ваше —ство... Мы вам найдем бланконадписателя. Иван, поди сюда! Входит сторож Иван.

– Подай чаю, – говорит ему Рыков, – да вот надпиши его —ству бланок!<sup>53</sup>

Бланк надписывается, и довольный господин презентует Ивана двугривенным.

Заседание скопинской думы. Рассматриваются годовые отчеты банка. Рыков сидит рядом с головою.<sup>54</sup>

– Нам, господа, нужно выбрать кассира банка, – говорит голова. – Рекомендую Кичкина. Человек честный и порядочный...

– Отсутствующие не могут быть избираемы, – говорит Рыков, подозревающий в Кичкине человека «вредного».

– А где же Кичкин, братцы? – шепчутся друг с другом гласные, переглядываясь. – Нешто его нет?

– Нету... Он так устроил, что Кичкину понадобилось из города уехать, рельсы смотреть, и повестку ему вручили в тот самый раз, когда он на поезд садился...<sup>55</sup>

<sup>53</sup> ...сторож Иван ~ надпиши его – ству бланок! – Ср. в фельетоне «Дело Рыкова и комп.»: «... кто затруднялся найти поручителя, тому выбирал такового сам Рыков из своей домашней прислуги». О нарушении правил при учете векселей Чехов слушал подробное разбирательство на утреннем заседании суда 24 ноября («Русские ведомости», 1884, № 327, 25 ноября).

<sup>54</sup> ...рядом с головою. – Городской голова – Владимир Овчинников.

<sup>55</sup> ...в Кичкине человека «вредного» ~ на поезд садился... – Ср. в фельетоне «Дело Рыкова и комп.»: «Свидетель А. Кичкин, человек „вредный“, рассказывает, что перед одним заседанием, в которое гласные хотели избрать его кассиром, Рыков уснул его из города „осмотреть железные и медные вещи“ и что повестка была вручена ему в то время, когда он садился на поезд

– Хитер, шельма! Афонасова спойл<sup>56</sup>, Ивана подкупил<sup>57</sup>, Егора в кабалу взял... Отчеты эти самые, положим, рассматривать... Да для че их глядеть? Один смех только! Жульничество!

– А вы, господин, потише-с! – шипит чуйка с красным носом и в новых сапогах гармонийкой, по всем признакам клевет Рыкова. – Сами должны, а такие слова говорите!

– Не я один должен, все должны ему!

– Все и молчите.

– Отчеты, господа, я полагаю утвердить без прений, – говорит голова. – В банке всё обстоит благополучно, а ежели газеты и пишут, то сами знаете, газеты на то и созданы духом нечистым, чтоб лжу бесовскую в людей вселять...<sup>58</sup> Нахожу всё верным и обстоятельным.. Никто ничего не желает возразить?

Семен, Петр и Иона хотели бы возразить, но каждый из них должен по 30 000.

– В таком разе предлагаю, – продолжает голова, – выразить нашу благодарность И. Г. Рыкову за отличное ведение банковых дел!

– Благодарим! Благодарим!

Рыков кивает головой и уезжает восвояси.

Почтовая контора. Почтмейстер Перов, получающий ежемесячно от Рыкова 57 руб.<sup>59</sup>, беседует с «просителем» (в Скопине почтмейстер – начальство).

– Что вам угодно?

– Два месяца тому назад я послал письмо в редакцию «Нового времени», и письмо это оказывается не полученным. Могу ли я узнать о судьбе этого письма? Потом – я не получил 41 № «Вестника»<sup>60</sup>, где помещены корреспонденции из Скопина. Клуб тоже не получил этого номера.

– Прошу не облокачиваться!

– Третьего дня мой знакомый не получил «Новостей»<sup>61</sup>, где тоже есть корреспонденция из Скопина. Потом-с – не можете ли вы объяснить, где то мое письмо, которое я послал в июле в Москву, в редакцию «Курьера»?<sup>62</sup> Оно, представьте, тоже не получено!

– Теперь уже 3 часа, и прием всякого рода корреспонденций прекращен! Приходите завтра!

---

«...» таким образом „вредный дух“ был выкурен». Случай с Кичкиным подробно освещен в «Обвинительном акте». См. также «Московские ведомости», 1884, № 326, 24 ноября.

<sup>56</sup> *Афонасова спойл...* – В фельетоне «Дело Рыкова и комп.»: «Купец Иван Афонасов «...» заявил «...» об отречении от наследства, так как долг отца Скопинскому банку превышал стоимость отцовского наследья «...» стали грозить «...» женился на дочери Рыкова». Факт этот многократно обсуждался на суде. Рассказывалось и о том, что дядя Ивана Афонасова, спаивая избирателей, так усердствовал, что сам умер от белой горячки. В «Обвинительном акте» приводится другое лицо – городской голова Василий Иконников (преемник Овчинникова); он был «подвержен пороку пьянства, а Рыков спаивал его «...» до состояния белой горячки», что подтверждали на суде многие свидетели.

<sup>57</sup> *...Ивана подкупил...* – Возможно, Иван Руднев, товарищ директора. Заняв это место, он оказался должен банку 213000, а до этого был должен только 40000 («Дело Рыкова и комп.»).

<sup>58</sup> *В банке всё обстоит благополучно ~ лжу бесовскую в людей вселять...* – В «Обвинительном акте» говорится, что начиная с 1878 г. стали поступать в печать и к властям заявления о злоупотреблениях в банке. 22 августа 1882 г. в № 34 (воскресном) «Сына отечества» напечатано заявление Рыкова и городского головы о том, «что дела банка идут хорошо, причем Рыков в своем заявлении утверждает, что распространяемые некоторыми газетами известия о неудовлетворительном ведении этим банком операций „закljučают в себе одну только ложь“».

<sup>59</sup> *Почтмейстер Перов, получающий ежемесячно от Рыкова 57 руб. ...* – Ср. в «Деле Рыкова и комп.»: «Кроме дьякона Попова, получали от банка „благодарность“ в форме аккуратно выплачиваемого месячного жалованья: почтмейстер Перов...»

<sup>60</sup> *...41 № «Вестника»...* – Возможно, имеется в виду «Правительственный вестник» (1869—1917).

<sup>61</sup> *...не получил «Новостей»...* – «Новости и биржевая газета», СПб. (1880—1906).

<sup>62</sup> *...мое письмо, которое я послал ~ в редакцию «Курьера»? – «Русский курьер», М. (1879—1889, 1891).* Из «Обвинительного акта» известно, что эта газета печатала «корреспонденции о скопинском банке, представляющие как дела этого кредитного учреждения, так и лично его, Рыкова, в непривлекательном виде». В 1882 г. Рыков сделал попытку сблизиться с редактором газеты Н. П. Ланиным, чтобы пресечь эти корреспонденции, но знакомство не состоялось.

## Устрицы

Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь. Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется набок... Повидимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание.

Попади я в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать на моей доске: Fames<sup>63</sup> – болезнь, которой нет в медицинских учебниках.

Возле меня на тротуаре стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и триковой шапочке, из которой торчит белеющий кусочек ваты. На его ногах большие, тяжелые калоши. Суетный человек, боясь, чтобы люди не увидели, что он носит калоши на босую ногу, натянул на голени старые голенища.

Этот бедный, глуповатый чудак, которого я люблю тем сильнее, чем оборваннее и грязнее делается его летнее франтоватое пальто, пять месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по письменной части. Все пять месяцев он шатался по городу, просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню...

Против нас большой трехэтажный дом с синей вывеской: «Трактир». Голова моя слабо откинута назад и набок, и я поневоле гляжу вверх, на освещенные окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры. Виден правый бок оркестриона, две олеографии, висячие лампы... Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего темно-коричневого фона. Я напрягаю зрение и в пятне узнаю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно – не видно...

Полчаса я не отрываю глаз от вывески. Своею белизною она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старания мои тщетны.

Наконец странная болезнь вступает в свои права.

Шум экипажей начинает казаться мне громом, в уличной вони различаю я тысячи запахов, глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои пять чувств напряжены и хватают через норму. Я начинаю видеть то, чего не видел ранее.

– Устрицы... – разбираю я на вывеске.

Странное слово! Прожил я на земле ровно восемь лет и три месяца, но ни разу не слышал этого слова. Что оно значит? Не есть ли это фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах!

– Папа, что значит устрицы? – спрашиваю я хриплым голосом, сиюсь повернуть лицо в сторону отца.

Отец мой не слышит. Он всматривается в движения толпы и провожает глазами каждого прохожего... По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то прохожим, но роковое слово тяжелой гирей висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним прохожим он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал «виноват», сконфузился и попятился назад.

– Папа, что значит устрицы? – повторяю я.

– Это такое животное... Живет в море...

Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него приготавливают, конечно, очень вкусную горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кисловатую селянку с хрящи-

<sup>63</sup> Голод (лат.)

ками, раковый соус, холодное с хреном... Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное, быстро чистят его, быстро суют в горшок... быстро, быстро, потому что всем есть хочется... ужасно хочется! Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа.

Я чувствую, как этот запах щекочет мое небо, ноздри, как он постепенно овладевает всем моим телом... Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава – всё пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моем рту лежит кусок морского животного...

Ноги мои гнутся от наслаждения, которое я чувствую, и я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукав и припадаю к его мокрому летнему пальто. Отец дрожит и жмется. Ему холодно...

– Папа, устрицы постные или скоромные? – спрашиваю я.

– Их едят живыми... – говорит отец. – Они в раковинах, как черепахи, но... из двух половинок.

Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает... Теперь я всё понимаю!

– Какая гадость, – шепчу я, – какая гадость!

Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, смотрит оттуда большими блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей... Дети все прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его и едят... едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит и старается укунить за губу...

Я морщусь, но... но зачем же зубы мои начинают жевать? Животное мерзко, отвратительно, страшно, но я ем его, ем с жадностью, боясь разгадать его вкус и запах. Одно животное съедено, а я уже вижу блестящие глаза другого, третьего... Я ем и этих... Наконец ем салфетку, тарелку, калоши отца, белую вывеску... Ем всё, что только попадется мне на глаза, потому что я чувствую, что только от еды пройдет моя болезнь. Устрицы страшно глядят глазами и отвратительны, я дрожу от мысли о них, но я хочу есть! Есть!

– Дайте устриц! Дайте мне устриц! – вырывается из моей груди крик, и я протягиваю вперед руки.

– Помогите, господа! – слышу я в это время глухой, придушенный голос отца. – Совестно просить, но – боже мой! – сил не хватает!

– Дайте устриц! – кричу я, теребя отца за фалды.

– А ты разве ешь устриц? Такой маленький! – слышу я возле себя смех.

Перед нами стоят два господина в цилиндрах и со смехом глядят мне в лицо.

– Ты, мальчуган, ешь устриц? В самом деле? Это интересно! Как же ты их ешь?

Помню, чья-то сильная рука тащит меня к освещенному трактиру. Через минуту собирается вокруг толпа и глядит на меня с любопытством и смехом. Я сижу за столом и ем что-то склизкое, соленое, отдающее сыростью и плесенью. Я ем с жадностью, не жуя, не глядя и не осведомляясь, что я ем. Мне кажется, что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клешни и острые зубы...

Я вдруг начинаю жевать что-то твердое. Слышится хрустенье.

– Ха-ха! Он раковины ест! – смеется толпа. – Дурачок, разве это можно есть?

Засим я помню страшную жажду. Я лежу на своей постели и не могу уснуть от изжоги и странного вкуса, который я чувствую в своем горячем рту. Отец мой ходит из угла в угол и жестикулирует руками.

– Я, кажется, простудился, – бормочет он. – Что-то такое чувствую в голове... Словно сидит в ней кто-то... А может быть, это оттого, что я не... тово... не ел сегодня... Я, право,

странный какой-то, глупый... Вижу, что эти господа платят за устриц десять рублей, отчего бы мне не подойти и не попросить у них несколько... взаймы? Наверное бы дали.

К утру я засыпаю, и мне снится лягушка с клешнями, сидящая в раковине и играющая глазами. В полдень просыпаюсь от жажды и ищу глазами отца: он всё еще ходит и жестикулирует...

## Либеральный душка

Каждый год на святках чернопупские губернские дамы и чиновники губернского правления дают с благотворительною целью любительский спектакль. Прошлогодний спектакль вышел неудачен, так как распорядительская часть была в руках старшего советника Чушкина, «бурбона», урезавшего наполовину пьесу и не дававшего воли рассказчикам. В этом же году любительский персонал запротестовал. Выбор пьесы дамы взяли на себя, внешняя же часть и выбор рассказчиков, певцов и распорядителей танцев были поручены чиновнику особых поручений Каскадову, человеку молодому, университетскому и либеральному.

– Кого же выбрать, господа? – рассуждал в одно декабрьское утро Каскадов, стоя посреди присутствия и подбоченясь. – Распорядителями танцев будут жандармский поручик Подлигайлов, ну... и я, конечно. Из мужчин петь... я, ну и, пожалуй, жандармский поручик Подлигайлов... У него баритон прелестный, но, между нами говоря, грубый... Кто же будет в антрактах рассказывать?

– Тлетворского назначьте... – сказал столоначальник Кисляев, чистя спичкой ногти. – В прошлом годе он, шельма, превосходно рассказывал... Одна рожа чего стоит! Пьет, каналья, но... ведь все таланты пьют! И Рафаэль, говорят, пил!

– Тлетворский? Ах да, помню... Рассказывает недурно, но манера... манера! Никифор, позови сюда Тлетворского!

Вошел высокий, сутуловатый брюнет с включенной гривой, большими красными руками и в рыжих панталонах.

– Садитесь, Тлетворский! – обратился к нему Каскадов, сморкаясь в раздушенный платок. – У нас, видите ли, опять затевается спектакль... Да вы садитесь! Бросьте вы это, никому не нужное, китайское чиновничество. Будем людьми! Нуте-с... В антрактах и после спектакля, по примеру прошлого года, предполагается чтение... Нуте-с..., а рассказчиков и чтецов у нас в Чернопупске совсем нет... Я, пожалуй, мог бы прочесть что-нибудь, ну... и жандармский поручик Подлигайлов читает недурно, но нам решительно некогда! Приходится опять к вам обратиться... Не возьметесь ли, голубчик?

– Пожалуй, – потупился Тлетворский. – Но ежели, Иван Матвеич, будут стеснять, как и в прошлом году, то выйдет один только смех!

– Ни, ни... Свобода полная! Полнейшая, батенька! Читайте что хотите и как хотите! Потому-то я и взял на себя распорядительство, чтобы дать вам свободу! Иначе бы я не согласился... Не стесняйтесь ни выбором, ничем, одним словом! Вы прочтете что-нибудь... расскажете анекдот... стишки, вообще...

– Это можно... Из еврейского быта можно будет что-нибудь...

– Из еврейского? Превосходно! Прекрасно, душа моя! Впрочем... удобно ли это будет? Дело в том, батенька, что на вечере будет Медхер с дочерьми... Выкрест, но все-таки неловко... Обидится... Вы что-нибудь другое...

– Ты хорошо про немцев рассказываешь, – пробормотал Кисляев.

– Пожалуй... – согласился Каскадов. – Возьмите немецкий быт... Только, тово... и это едва ли будет удобно... Ее превосходительство немка, урожденная баронесса фон Риткарт... Нельзя, милейший! Стеснять себя, конечно, не следует, но все-таки не мешает быть осторожным. Время такое, между нами говоря, всякий любит всё на свой счет принимать... В прошлом году, например, вы рассказали, между прочим, анекдот из армянского быта, где, помните, жители Нахичевани говорят: «Дайте нам ваш кишка, а когда, бог даст, у вас будет пожар, то мы вам два кишка дадим». Что тут обидного? А ведь обиделись!

– Страшно обиделись! – подтвердил Кисляев.

– «Знаем, говорят, про какой это он Нахичевань рассказывает!» А барышни при слове «кишка» краснели. Разберите вы тут, что прилично и что неприлично! Осторожность и осторожность! Например, хоть русский народный быт взять... горбуновское что-нибудь...<sup>64</sup> Великолепная вещь! Восторг! Но нельзя: его превосходительство находит, что это «издевательство над народом»! Он отчасти прав, но... ужасное время, между нами говоря! Чёрт знает какое время!

– Можно будет, знаете ли, прочесть что-нибудь некрасовское... «И на лбу роковые слова»:<sup>65</sup> продается с публичного торга!» Отлично!

– Ни, ни... ни! – растопырил руки Каскадов. – Вечер будет семейный... дамы, девицы, а вы – роковые слова! Что вы, батенька! И не думайте! И без крайностей можно обойтись! Вы что-нибудь этакое не тенденциозное, нейтральное... этакое что-нибудь легонькое...

– Что же легонькое? Нешто толстовскую «Грешницу?»

– Тяжеловато, батенька! – поморщился Каскадов. – «Грешница», последний монолог из «Горе от ума»... всё это шаблонно, заезжено и... полемично отчасти... Выберите что-нибудь другое... И, пожалуйста, не стесняйтесь! Выбирайте что хотите... что хотите!

Тлетворский поднял вверх глаза и задумался. Кисляев поглядел на него, вздохнул и презрительно покачал головой.

– Стало быть, ты безнравственный человек, – проворчал он, – ежели не можешь придумать что-нибудь нравственное!..

– Тут дело не в нравственности, Захар Ильич! – заступился Каскадов. – Тлетворский односторонен – это правда!

Тлетворский покраснел и почесал себе глаз.

– Зачем же вы меня зовете, ежели я безнравственный и односторонний? – проговорил он, поднимаясь и направляясь к двери. – Я не напрашиваюсь.

По уходе Тлетворского Каскадов зашагал.

– Не понимаю я таких людей, Захар Ильич! – заговорил он, ероша свою прическу. – Клянусь богом, не понимаю! Я сам не рутинер, не отсталый... либерал даже и страдаю за свой образ мыслей, но не понимаю я таких крайностей, как этот господин! Я, ну и... жандармский поручик Подлигайлов слышем за вольнодумцев... общество косится на нас... Его превосходительство подозревает меня в сочувствии идеям... И я не отказываюсь от своих убеждений! Я либерал! Но... такие люди, как этот Тлетворский... не понимаю! Тут уж крайность, а крайних людей я, грешный человек, не выношу! Сам а не консерватор, но не выношу! Осуждайте меня, называйте рутинером... чем хотите, но не могу я протянуть руки господам а la Тлетворский!

Каскадов в изнеможении опустил в кресло и задумался...

– Прогнать, вот и всё! – пробормотал Кисляев, прикладывая от нечего делать к манжетке печать. – Про-гнать... вот и... всё!.. вот... и всё!

<sup>64</sup> Например, *хоть русский народный быт взять... горбуновское что-нибудь...* – И. Ф. Горбунов (1831—1895), актер Малого, затем Александринского театров, приобрел широкую популярность как автор и рассказчик очерков и сенок из народного быта. К 1884 г. вышли пятым изданием «Сцены из народного быта Горбунова для рассказов на театральной сцене и семейных вечерах. В 3-х частях». СПб., 1880.

<sup>65</sup> «И на лбу роковые слова...» – Цитата из стихотворения Некрасова «Убогая и нарядная».

## Страшная ночь

Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом: – Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я, в ночь под Рождество 1883 года, возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения-на-Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи...

«Жизнь твоя близится к закату... Кайся...»<sup>66</sup>

Такова была фраза, сказанная мне на сеансе Спинозой, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило: «Сегодня ночью». Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее повергают меня в уныние. Смерть, господа, неизбежна, она обыденна, но, тем не менее, мысль о ней противна природе человека... Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головою жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек свободный от предрассудков, торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения.

Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал:

– Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника.

«Если верить Спинозе, – улыбнулся я, – то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако!»

Я зажег спичку... Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи...

«Плохо в такую ночь бесприютным», – подумал я.

Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгоралась сера и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное... Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички! Тогда, быть может, я ничего не увидел бы и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и, полный ужаса, отчаяния, изумления, закрыл глаза...

Посреди комнаты стоял гроб.

Синий огонек горел недолго, но я успел различить контуры гроба... Я видел розовый, мерцающий искорками, глазет, видел золотой, галунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста и, судя по розовому цвету, для молодой девушки. Дорогой глазет, ножки, бронзовые ручки – всё говорило за то, что покойник был богат.

---

<sup>66</sup> «Жизнь твоя близится к закату...» – Очевидно, в основе рассказа лежали личные впечатления Чехова от спиритического сеанса, так как десять лет спустя в письме к А. С. Суворину от 11 июля 1894 г. он вспоминал: «Как-то, лет 10 назад, я занимался спиритизмом, и вызванный мною Тургенев ответил мне: „Жизнь твоя близится к закату“».

Опрометью выбежал я из своей комнаты и, не рассуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страх, понесся вниз по лестнице. В коридоре и на лестнице было темно, ноги мои путались в полах шубы, и как я не слетел и не сломал себе шеи – это удивительно. Очутившись на улице, я прислонился к мокрому фонарному столбу и начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыхание сперло...

Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику, и последний продолжал:

– Я не удивился бы, если бы застал в своей комнате пожар, вора, бешеную собаку... Я не удивился бы, если бы обвалился потолок, провалился пол, попадали стены... Всё это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский, сделанный, очевидно, для молодой аристократки, – как мог он попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он или внутри его – труп? Кто же *она*, эта безвременно покончившая с жизнью богачка, нанесшая мне такой странный и страшный визит? Мучительная тайна!

«Если здесь не чудо, то преступление», – блеснуло в моей голове.

Я терялся в догадках. Дверь во время моего отсутствия была заперта и место, где находился ключ, было известно только моим очень близким друзьям. Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, что гроб был принесен ко мне гробовщиками по ошибке. Они могли обознаться, ошибиться этажом или дверью и внести гроб не туда, куда следует. Но кому не известно, что наши гробовщики не выйдут из комнаты, прежде чем не получат за работу или, по крайней мере, на чай?

«Духи предсказали мне смерть, – думал я. – Не они ли уже постарались кстати снабдить меня и гробом?»

Я, господа, не верю и не верил в спиритизм, но такое совпадение может повергнуть в мистическое настроение даже философа.

«Но всё это глупо, и я труслив, как школьник, – решил я. – То был оптический обман – и больше ничего! Идя домой, я был так мрачно настроен, что не мудрено, если мои больные нервы увидели гроб... Конечно, оптический обман! Что же другое?»

Дождь хлестал меня по лицу, а ветер сердито трепал мои полы, шапку... Я озяб и страшно промок. Нужно было идти, но... куда? Воротиться к себе – значило бы подвергнуть себя риску увидеть гроб еще раз, а это зрелище было выше моих сил. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души, не слышавший ни одного человеческого звука, оставшись один, наедине с гробом, в котором, быть может, лежало мертвое тело, мог бы лишиться рассудка. Остаться же на улице под проливным дождем и в холоде было невозможно.

Я порешил отправиться ночевать к другу моему Упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемся. Жил он в меблированных комнатах купца Черепова, что в Мертвом переулке.

Панихидин вытер холодный пот, выступивший на его бледном лице, и, тяжело вздохнув, продолжал:

– Дома я своего друга не застал. Постучавшись к нему в дверь и убедившись, что его нет дома, я нащупал на перекладине ключ, отпер дверь и вошел. Я сбросил с себя на пол мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно... В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал свою однообразную песню сверчок. В Кремле ударили к рождественской заутрене. Я поспешил зажечь спичку. Но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив. Страшный, невыразимый ужас овладел мною вновь... Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбежал из номера...

В комнате товарища я увидел то же, что и у себя, – гроб!

Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колорит. Как он попал сюда? Что это был оптический обман – сомневаться уже было невозможно... Не мог же в каждой комнате быть гроб! Очевидно, то

была болезнь моих нервов, была галлюцинация. Куда бы я ни пошел теперь, я всюду увидел бы перед собой страшное жилище смерти. Стало быть, я сходил с ума, заболел чем-то вроде «гробомании», и причину умопомешательства искать было недолго: стоило только вспомнить спиритический сеанс и слова Спинозы...

«Я схожу с ума? – подумал я в ужасе, хватая себя за голову. – Боже мой! Что же делать?!»

Голова моя трещала, ноги подкашивались... Дождь лил, как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно, выше сил моих... Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я и верил, что то была галлюцинация.

– Что было делать? – продолжал Панихин. – Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от Мертвого переулка живет мой хороший приятель, недавно только кончивший врач, Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему... Тогда он еще не был женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома статского советника Кладбищенского.

У Погостова моим нервам суждено было претерпеть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверьми.

– Ко мне! – услышал я раздирающий душу крик. – Ко мне! Дворник!

И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась темная фигура в шубе и помятом цилиндре...

– Погостов! – воскликнул я, узнав друга моего Погостова. – Это вы? Что с вами?

Поравнявшись со мной, Погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась...

– Это вы, Панихин? – спросил он глухим голосом. – Но вы ли это? Вы бледны, словно выходец из могилы... Да полно, не галлюцинация ли вы?.. Боже мой... вы страшны...

– Но что с вами? На вас лица нет!

– Ох, дайте, голубчик, перевести дух... Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс... Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчас домой, увидел у себя в комнате... гроб!

Я не верил своим ушам и попросил повторить.

– Гроб, настоящий гроб! – сказал доктор, садясь в изнеможении на ступень. – Я не трус, но ведь и сам чёрт испугается, если после спиритического сеанса натолкнется в потемках на гроб!

Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною...

Минуту глядели мы друг на друга, выпуча глаза и удивленно раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы принялись щипать друг друга.

– Нам обоим больно, – сказал доктор, – стало быть, сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Стало быть, гробы, мой и оба ваши, – не оптический обман, а нечто существующее. Что же теперь, батенька, делать?

Простояв битый час на холодной лестнице и теряясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и порешили отбросить малодушный страх и, разбудив коридорного, пойти с ним в комнату доктора. Так мы и сделали. Войдя в номер, зажгли свечу, и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, с золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился.

– Теперь можно узнать, – сказал бледный доктор, дрожа всем телом, – пуст этот гроб или же... он обитаем?

После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. Мы взглянули в гроб и...

Гроб был пуст...

Покойника в нем не было, но зато мы нашли в нем письмо такого содержания:

«Милый Погостов! Ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги по горло. Завтра или послезавтра явятся описывать его имущество, и это окончательно погубит его семью и мою, погубит нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать всё ценное и дорогое. Так как всё имущество моего тестя заключается в гробах (он, как тебе известно, гробовых дел мастер, лучший в городе), то мы порешили припрятать самые лучшие гробы. Я обращаюсь к тебе, как к другу, помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь! В надежде, что ты поможешь нам сохранить наше имущество, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребования. Без помощи знакомых и друзей мы погибнем. Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более, что гроб простоит у тебя не более недели. Всем, кого я считаю за наших истинных друзей, я послал по гробу и надеюсь на их великодушные и благородство.

Любящий тебя Иван Челюстин».

После этого я месяца три лечился от расстройства нервов, друг же наш, зять гробовщика, спас и честь свою, и имущество, и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами. Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, входя к себе, я всё боюсь, что увижу около своей кровати белый мраморный памятник или катафалк.

## Елка

Высокая, вечно зеленая елка судьбы увешана благами жизни... От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, шелчки по носу и проч. Вокруг елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки...

– Дети, кто из вас желает богатую купчиху? – спрашивает она, снимая с ветки краснощекую купчиху, от головы до пяток усыпанную жемчугом и бриллиантами... – Два дома на Плющихе, три железные лавки, одна портерная и двести тысяч деньгами! Кто хочет?

– Мне! Мне! – протягиваются за купчихой сотни рук. – Мне купчиху!

– Не толпитесь, дети, и не волнуйтесь... Все будете удовлетворены... Купчиху пусть возьмет себе молодой эскулап.<sup>67</sup> Человек, посвятивший себя науке и записавшийся в благодетели человечества, не может обойтись без пары лошадей, хорошей мебели и проч. Бери, милый доктор! Не за что... Ну-с, теперь следующий сюрприз! Место на Чухломо-Пошехонской железной дороге! Десять тысяч жалованья, столько же наградных, работы три часа в месяц, квартира в тринадцать комнат и проч. ... Кто хочет? Ты, Коля? Бери, милый! Далее... Место экономки у одинокого барона Шмаус! Ах, не рвите так, mesdames! Имейте терпение!.. Следующий! Молодая, хорошенькая девушка, дочь бедных, но благородных родителей! Приданого ни гроша, но зато натура честная, чувствующая, поэтическая! Кто хочет? (Пауза.) Никто?

– Я бы взял, да кормить нечем! – слышится из угла голос поэта.

– Так никто не хочет?

– Пожалуй, давайте я возьму... Так и быть уж... – говорит маленький, подагрический старикашка, служащий в духовной консистории. – Пожалуй...

– Носовой платок Зориной! Кто хочет?

– Ах!.. Мне! Мне!..<sup>68</sup> Ах! Ногу отдавили! Мне!

– Следующий сюрприз! Роскошная библиотека, содержащая в себе все сочинения Канта, Шопенгауэра, Гёте, всех русских и иностранных авторов, массу старинных фолиантов и проч. ... Кто хочет?

– Я-с! – говорит букинист Свинопасов. – Па-жалте-с!

Свинопасов берет библиотеку, отбирает себе «Оракул», «Сонник», «Письмовник», «Настольную книгу для холостяков»..., остальное же бросает на пол...

– Следующий! Портрет Окрейца!

Слышен громкий смех...

– Давайте мне... – говорит содержатель музея Винклер.<sup>69</sup> – Пригодится...

– Далее! Роскошная рамка от премии «Нови» (пауза). Никто не хочет? В таком случае далее... Порванные сапоги!

Сапоги достаются художнику... В конце концов елка обирается и публика расходится... Около елки остается один только сотрудник юмористических журналов...

<sup>67</sup> *Купчиху пусть возьмет себе молодой эскулап.* – Воображаемая женитьба на богатой купчихе служила постоянной темой для шуток Чехова в кругу родных и близких знакомых. См. в письме Лейкину от 9 мая 1885 г.: «...денег так мало, что совестно на карманы глядеть. Жениться на богатой купчихе, что ли? Женюсь на толстой купчихе и буду издавать толстый журнал».

<sup>68</sup> *Носовой платок Зориной! ~ Мне! Мне!..* – В. В. Билибин посвятил В. В. Зориной раздел в своих «Осколках петербургской жизни», назвав ее «знаменитостью, в некотором роде, ныне приходящего к концу летнего опереточного сезона», отозвавшись, впрочем, иронически о пристрастии певицы к цыганским романсам; на отзыве Билибина была построена и карикатура на обложке этого номера «Осколков» (1884, № 33, 18 августа, стр. 3).

<sup>69</sup> *Портрет Окрейца! ~ Давайте мне...* – говорит содержатель музея Винклер. – Музей восковых фигур В. Винклера постоянно упоминается у Чехова как заведение, куда списывают старый хлам; ср. в «Конторе объявлений Антоши Чехонте» – о «безвозвратной кончине „Русской газеты“, последовавшей после тяжелого и продолжительного тления» (т. I Сочинений). Имя С. С. Окрейца в сходном контексте названо в «Завещании старого, 1883-го года» (т. II Сочинений).

– Мне же что? – спрашивает он судьбу. – Все получили по подарку, а мне хоть бы что. Это свинство с твоей стороны!

– Всё разобрали, ничего не осталось... Остался, впрочем, один кукиш с маслом... Хочешь?

– Не нужно... Мне и так уж надоели эти кукиши с маслом... Кассы некоторых московских редакций полнехоньки этого добра. Нет ли чего посушественнее?

– Возьми эти рамки...

– У меня они уже есть...

– Вот уздечка, вожжи... Вот красный крест, если хочешь... Зубная боль... Ежовые рукавицы... Месяц тюрьмы за диффамации...

– Всё это у меня уже есть...

– Оловянный солдатик, ежели хочешь... Карта Севера...

Юморист машет рукой и уходит восвояси с надеждой на елку будущего года...

## Не в духе

Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но бес жадности и корыстолюбия сидел в ухе станового и упрекал его в расточительности.

– Восемь рублей – экая важность! – заглужал в себе Прачкин этого беса. – Люди и больше проигрывают, да ничего. И к тому же деньги дело наживное... Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все восемь, даже еще больше!

– «Зима... Крестьянин, торжествуя...» – монотонно зубрил в соседней комнате сын станового, Ваня. – «Крестьянин, торжествуя... обновляет путь...»

– Да и отыграться можно... Что это там «торжествуя»?

– «Крестьянин, торжествуя, обновляет путь... обновляет...»

– «Торжествуя...» – продолжал размышлять Прачкин. – Влепить бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше бы подати исправно платил... Восемь рублей – экая важность! Не восемь тысяч, всегда отыграться можно...

– «Его лошадка, снег почуя... снег почуя, плетется рысью как-нибудь...»

– Еще бы она вскачь понеслась! Рысак какой нашелся, скажи на милость! Кляча – кляча и есть... Нерассудительный мужик рад спяну лошадь гнать, а потом как угодит в прорубь или в овраг, тогда и возись с ним... Поскачи только мне, так я тебе такого скипидару пропишу, что лет пять не забудешь!.. И зачем это я с маленькой пошел? Пойди я с туза трэф, не был бы я без двух...

– «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая... бразды пушистые взрывая...»

– «Взрывая... Бразды взрывая... бразды...» Скажет же этакую штуку! Позволяют же писать, прости господи! А всё десятка, в сущности, наделала! Принесли же ее черти не вовремя!

– «Вот бегают дворовый мальчик... дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив... посадив...»

– Стало быть, наелся, коли бегают да балуется... А у родителей нет того в уме, чтоб мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше бы дрова колот или Священное писание читал... И собак тоже развели... ни пройти, ни проехать! Было бы мне после ужина не садиться... Поужинать бы, да и уехать...

– «Ему и больно и смешно, а мать грозит... а мать грозит ему в окно...»<sup>70</sup>

– Грози, грози... Леня на двор выйти да наказать... Задрапа бы ему шубенку да чик-чик! чик-чик! Это лучше, чем пальцем грозить... А то, гляди, выйдет из него пьяница... Кто это сочинил? – спросил громко Прачкин.

– Пушкин, папаша.

– Пушкин? Гм!.. Должно быть, чудак какой-нибудь. Пишут-пишут, а что пишут – и сами не понимают. Лишь бы написать!

– Папаша, мужик муку привез! – крикнул Ваня.

– Принять!

Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительнее становилась для него потеря. Так было жалко восьми рублей, так жалко, точно он в самом деле

<sup>70</sup> «Зима... Крестьянин, торжествуя ~ грозит ему в окно...» – Цитаты из второй строфы гл. V «Евгения Онегина», ставшей хрестоматийным отрывком. «Родное слово» К. Ушинского, насчитывавшее к 1884 г. свыше пятидесяти изданий, дважды предлагало учащимся этот пушкинский текст – сначала для чтения, а потом для заучивания и грамматического разбора (см. «Родное слово для детей младшего возраста. Год первый». Сост. К. Ушинский. СПб., 1864, стр. 63, и «Родное слово. Год третий». Сост. К. Ушинский. СПб., 1870, стр. 137—144).

проиграл восемь тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин стал у окна и, тоскуя, вперил свой печальный взор в снежные сугробы... Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатило под душу... Потребность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он не вынес...

– Ваня! – крикнул он. – Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил!

## Предписание

*(Из захолустной жизни)*

Ввиду наступления высокоторжественного праздника Рождества Христова и принимая во внимание, что в праздничные дни в приемной бывает большое стечение поздравителей, вменяю вам, милостивый государь, в обязанность строжайше наблюдать, чтобы поздравители, ожидая в приемной, не толпились, не курили табаку и не производили шума, каковой мог бы помешать надлежащему ходу порядка, а также чтобы они не рассыпали крупы, гороха, муки и прочих съестных припасов ни на лестнице, ни в приемной, а также вменяю вам в обязанность внушать поздравителям, по возможности вежливо и учтиво, чтобы имеющаяся при них живность имела мертвый вид, дабы свиниными, гусиными и прочими животными криками поздравители не нарушали надлежащей тишины и спокойствия. Нарушители же сего будут привлекаемы к строгой ответственности по установленному порядку.

Коллежский советник и кавалер М. Пауков.

Секретарь Ехидов.

С подлинным верно:

*Человек без селезенки.*

## Сон

### (Святочный рассказ)

Бывают погоды, когда зима, словно озлившись на человеческую немощ, призывает к себе на помощь суровую осень и работает с нею сообща. В беспросветном, туманном воздухе кружатся снег и дождь. Ветер, сырой, холодный, пронизывающий, с неистовой злобой стучит в окна и в кровли. Он воет в трубах и плачет в вентиляциях. В темном, как сажа, воздухе висит тоска... Природу мутит... Сыро, холодно и жутко...

Точно такая погода была в ночь под Рождество тысяча восемьсот восемьдесят второго года, когда я еще не был в арестантских ротах, а служил оценщиком в ссудной кассе отставного штабс-капитана Тупаева.

Было двенадцать часов. Кладовая, в которой я по воле хозяина имел свое ночное местопребывание и изображал из себя сторожевую собаку, слабо освещалась синим лампадным огоньком. Это была большая квадратная комната, заваленная узлами, сундуками, этажерками... На серых деревянных стенах, из щелей которых глядела растрепанная пакля, висели заячьи шубки, поддевки, ружья, картины, бра, гитара... Я, обязанный по ночам сторожить это добро, лежал на большом красном сундуке за витриной с драгоценными вещами и задумчиво глядел на лампадный огонек...

Почему-то я чувствовал страх. Вещи, хранящиеся в кладовых ссудных касс, страшны... В ночную пору при тусклом свете лампадки они кажутся живыми... Теперь же, когда за окном роптал дождь, а в печи и над потолком жалобно выл ветер, мне казалось, что они издавали воющие звуки. Все они, прежде чем попасть сюда, должны были пройти через руки оценщика, то есть через мои, а потому я знал о каждой из них всё... Знал, например, что за деньги, вырученные за эту гитару, куплены порошки от чахоточного кашля... Знал, что этим револьвером застрелился один пьяница; жена скрыла револьвер от полиции, заложила его у нас и купила гроб. Браслет, глядящий на меня из витрины, заложен человеком, укравшим его... Две кружевные сорочки, помеченные 178 №, заложены девушкой, которой нужен был рубль для входа в Salon, где она собиралась заработать... Короче говоря, на каждой вещи читал я безвыходное горе, болезнь, преступление, продажный разврат...

В ночь под Рождество эти вещи были как-то особенно красноречивы.

– Пусти нас домой!.. – плакали они, казалось мне, вместе с ветром. – Пусти!

Но не одни вещи возбуждали во мне чувство страха. Когда я высовывал голову из-за витрины и бросал робкий взгляд на темное, вспотевшее окно, мне казалось, что в кладовую с улицы глядели человеческие лица.

«Что за чушь! – бодрил я себя. – Какие глупые нежности!»

Дело в том, что человека, наделенного от природы нервами оценщика, в ночь под Рождество мучила совесть – событие невероятное и даже фантастическое. Совесть в ссудных кассах имеется только под закладом. Здесь она понимается, как предмет продажи и купли, других же функций за ней не признается... Удивительно, откуда она могла у меня взяться? Я ворочался с боку на бок на своем жестком сундуке и, шуря глаза от мелькавшей лампадки, всеми силами старался заглушить в себе новое, непрошеное чувство. Но старания мои оставались тщетны...

Конечно, тут отчасти было виновато физическое и нравственное утомление после тяжелого, целодневного труда. В канун Рождества бедняки ломились в ссудную кассу толпами. В большой праздник и вдобавок еще в злую погоду бедность не порок, но страшное несчастье! В это время утопающий бедняк ищет в ссудной кассе соломинку и получает вместо нее камень...

За весь сочельник у нас перебивало столько народу, что три четверти закладов, за неимением места в кладовой, мы принуждены были снести в сарай. От раннего утра до позднего вечера, не переставая ни на минуту, я торговался с оборвышами, выжимал из них гроши и копейки, глядел слезы, выслушивал напрасные мольбы... К концу дня я еле стоял на ногах: изнемогли душа и тело. Немудрено, что я теперь не спал, ворочался с боку на бок и чувствовал себя жутко...

Кто-то осторожно постучался в мою дверь... Вслед за стуком я услышал голос хозяина:

– Вы спите, Петр Демьяныч?

– Нет еще, а что?

– Я, знаете ли, думаю, не отворить ли нам завтра рано утречком дверь? Праздник большой, а погода злющая. Беднота нахлынет, как муха на мед. Так вы уж завтра не идите к обедне, а посидите в кассе... Спокойной ночи!

«Мне оттого так жутко, – решил я по уходе хозяина, – что лампадка мелькает... Надо ее потушить...»

Я встал с постели и пошел к углу, где висела лампадка. Синий огонек, слабо вспыхивая и мелькая, видимо боролся со смертью. Каждое мельканье на мгновение освещало образ, стены, узлы, темное окно... А в окне две бледные физиономии, припав к стеклам, глядели в кладовую.

«Никого там нет... – рассудил я. – Это мне представляется».

И когда я, потушив лампадку, пробирался ощупью к своей постели, произошел маленький казус, имевший немалое влияние на мое дальнейшее настроение... Над моей головой вдруг, неожиданно раздался громкий, неистово визжащий треск, продолжавшийся не более секунды. Что-то треснуло и, словно почувствовав страшную боль, громко взвизгнуло.

То лопнула на гитаре квинта, я же, охваченный паническим страхом, заткнул уши и, как сумасшедший, спотыкаясь о сундуки и узлы, побежал к постели... Я уткнул голову под подушку и, еле дыша, замирая от страха, стал прислушиваться.

– Отпусти нас! – выл ветер вместе с вещами. – Ради праздника отпусти! Ведь ты сам бедняк, понимаешь! Сам испытал голод и холод! Отпусти!

Да, я сам был бедняк и знал, что значит голод и холод. Бедность толкнула меня на это проклятое место оценщика, бедность заставила меня ради куска хлеба презирать горе и слезы. Если бы не бедность, разве у меня хватило бы храбрости оценивать в гроши то, что стоит здоровья, тепла, праздничных радостей? За что же винит меня ветер, за что терзает меня моя совесть?

Но как ни билось мое сердце, как ни терзали меня страх и угрызения совести, утомление взяло свое. Я уснул. Сон был чуткий... Я слышал, как ко мне еще раз стучался хозяин, как ударили к заутрене... Я слышал, как выл ветер и стучал по кровле дождь. Глаза мои были закрыты, но я видел вещи, витрину, темное окно, образ. Вещи толпились вокруг меня и, мигая, просили отпустить их домой. На гитаре с визгом одна за другой лопались струны, лопались без конца... В окно глядели нищие, старухи, проститутки, ожидая, пока я отопру ссуду и возвращу им их вещи.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.